

## Глава V

### «НАМ ПРОТИВОСТОИТ ОБВИНЕНИЕ НАПРОТИВ, ОБВИНЕНИЕ В ЛИЦЕ СУДА, ОБВИНЕНИЕ НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ И ДВЕ ТЫСЯЧИ ОБВИНИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ СИДЯТ В ЗАЛЕ»: ЭТИКА И ТАКТИКА ПРОТИВОБОРСТВА

#### § 1. «ВОТ ЭТА АЛГЕБРАИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА — МИНУС НА МИНУС ДАЕТ ПЛЮС — ПРЕДАТЕЛЬ, ПРЕДАЮЩИЙ ПРЕДАТЕЛЯ, ЧЕСТЕН...»

##### 1.1. Логика и мотивы оправдания Г.И.Семеновым и Л.В.Коноплевой своего ренегатства

В середине января 1922 г. Л. В. Коноплева (помощница Семенова в его боевом отряде) написала заявления в ЦК РКП(б) и в ЦК ПСР, а также доклад о своей работе «в ПСР в области военной, боевой и террористической» и письмо к известному большевику Л. П. Серебрякову, которого она просила передать эти документы руководству большевиков. В письме к Серебрякову Коноплева объясняла причины сокрытия от него правды в момент своего вступления в РКП(б) и заявляла, что у них с Семеновым была договоренность о выступлении с совместным заявлением, разоблачающим эсеров, после его возвращения из России (в Германию). «Когда он вернулся, — продолжала она, — мы не имели возможности совместно выступить, так как находились по роду работы в разных местах, не имея возможности ни увидеться, ни списаться. Он подал заявление один, и позже, когда представилась возможность, уведомил меня. Теперь я делаю то же самое, сознавая, что должна это сделать во имя революции и в то же время сознаю, что с моей моралью, с моим внутренним „я“ этот поступок несовместим»<sup>1</sup>. Какое и кому именно сделал заявление Семенов неясно (если под заявлением Коноплева не понимает брошюру). Но отметим, что в пользу самостоятельного, т. е. без «соавторства» и «редактирования» чекистами, написания текстов Семенова и Коноплевой говорит масса несовпадений в них.

С кем разговаривал Семенов о моральной допустимости своего ренегатства и разговаривал ли он на эту тему вообще, неизвестно. В отличие от Коноплевой, которая многократно упоминала о своих «моральных» переживаниях и на предварительном следствии и на самом процессе, Семенов затронул эту проблему только два раза. Первый раз в конце своей брошюры, где он воскликнул: «Из тюрьмы через девять месяцев я вышел с отрицательным в корне отношением ко всей моей прежней работе. До тюрьмы у меня не было времени для критического анализа происходящих событий. В тюрьме делать было нечего помимо дум и размышлений. Я вспоминал, взвешивал, критиковал, оценивал прошлое, и у меня постепенно появлялось смутное колебание. Завершение с.-р. движения на Волге победой реакции — с одной стороны, Венгерская и Германская революции — с другой стороны — были для меня огромным толчком к коренной переоценке и характера революции, и основных позиций

Партии, и роли в Революции пролетариата и крестьянства. Переоценка привела меня к взгляду на Революцию как на революцию социалистическую, к признанию ошибочности позиций партии Социалистов-революционеров, к признанию необходимости диктатуры пролетариата»<sup>2</sup>.

Второй раз, когда в «Правде» от 29 марта 1922 г. появилось письмо Семенова к некоему другу, где он восклицал: «Я предвижу, сколько грязи они выльют на меня. Ведь для них я предатель. Но я продумал до конца моральную сторону вопроса, и для меня слова не страшны. Здесь нет предательства. Предательством было бы скрывать от РКП свое прошлое и таить в себе от трудящихся факты огромной исторической важности. И когда моя правда стала мне ясна, меня уже не пугают перспективы сожжения на эсеровском костре. Пусть обливают грязью. Для мещан и контрреволюционеров я предатель, для коммуниста я исполнил свой долг. Тяжело мне все это невероятно, но я делаю революционное дело...»<sup>3</sup>. Сама манера письма, анонимность адресата и появление его в «Правде» вызывают предположения о «заказном» характере этого документа. Похоже, большевистские сценаристы и постановщики процесса ощутили, что образ «предателя», сложившийся в отношении Семенова (как у эсеров, так и у части коммунистов), очень серьезно им мешает, и они приняли меры для его изменения.

Л. В. Коноплева же считала идейную эволюцию взглядов недостаточным оправданием ренегатства и сделала ряд попыток морально оправдать свою позицию. Так, она 15 января 1922 г. написала заявление в ЦК РКП(б) следующего содержания: «Прилагая при сем доклад о работе своей в п.с.р. в области военной, боевой и террористической в период с конца 1917 г. по конец 1918 г. сообщаю, что многое уже забыто мною.

<...> Кроме того, считая своим долгом чести поставить Центральный Комитет Партии Социалистов-Революционеров в известность о сделанных мною разоблачениях о боевой и террористической работе ПСР, пересылаю Центральному комитету РКП заявление на имя ЦК ПСР для рассмотрения. В случае согласия на это Центрального Комитета РКП, прошу переслать прилагаемое заявление Гоцу или Донскому»<sup>4</sup>. Упомянутое заявление гласило: «Довожу до сведения Центрального Комитета П.С.Р., что одновременно с этим мною делается сообщение Центральному Комитету РКП о военной, боевой и террористической работе в период с конца 1917 г. по Июнь 1918 г. в Петербурге и Москве. Бывший член П. С.Р. член Р.К.П. Лидия Коноплева»<sup>5</sup>.

Ответ на вопрос, зачем ей понадобилось писать эти заявления и просить о вручении одного из них Донскому или Гоцу, сидевшим в Бутырках (странная же получилась бы процедура такого вручения!), достаточно ясен. Коноплева явно пыталась сохранить лицо и делала хорошую мину при плохой игре. Ее заявление в ЦК ПСР должно было продемонстрировать, что свои разоблачения властям она делает «по правилам», как положено революционеру, так сказать, публично объявляя — «Иду на Вы!». Вполне естественно, впрочем, что большевики не стали ей потворствовать, так как это грозило разрушением всего их замысла, открытием инспирированности действий Семенова и Коноплевой, предоставлением эсерам времени для принятия хоть каких-то превентивных мер и т. п.

Желание опереться на спасительное — «интересы революции» и неуверенность в правоте собственных поступков, кардинально противоречащих фундаментальным понятиям революционной чести, пронизывают все письмо Коноплевой к видному большевику Серебрякову, давшему ей рекомендацию при вступлении ее в РКП(б). Это письмо Коноплевой

настолько выразительно показывает, какой сумбур творился в ее голове, какое смятение чувств она переживала, как попытки уговорить свою совесть софизмами чередовались с опасениями, что даже коммунисты примут ее за банального предателя и провокатора, что заслуживает пространного цитирования: «Дорогой Леонид Петрович! <...> Мне хочется немного поговорить с Вами, поделиться своими мыслями. Весь 1919 г. был годом ломки моего старого идеологического мировоззрения. И результат был тот, что и по взглядам своим и по работе фактически я сделалась коммунисткой, но официальное вхождение в РКП считала невозможным благодаря своему прошлому. Еще будучи в п.с.р., и после в группе „Народ“ я считала, что долг наш — мой и Семенова во имя справедливости открыть ту стралицу в истории п.с.р., скрытые от широких масс — Интернационалу <...> Но как это сделать, я не знала. Вопрос этот, связанный с тяжелым личным моральным состоянием, стал перед вхождением моим в РКП. С одной стороны, я чувствовала, сознавала, что не имею морального права войти в партию, перед которой имею столько тяжких грехов, не сказав ей о них, с другой стороны, считала, что открыть его, не указав фактического положения вещей, связи в прошлой работе с п.с.р., персонально ряда лиц, я не могла — слишком все было связано одно с другим. Это же считала неприемлемым со стороны моральной — попросту говоря предательством старых товарищей по работе. На сколько было приемлемо для меня сообщение о прошлом Интернационалу — объективному судье, настолько не приемлемо Центральному Комитету или иному органу РКП. Политическая партия не судья другой партии, они обе стороны заинтересованные, а не беспристрастные судьи. Таково было мое убеждение. Перед вступлением в РКП, я вам говорила не раз, что прошлое мешает войти.

Но я решила перешагнуть через прошлое и в партию вошла, имея на мысли дальнейшей работой хоть немного покрыть прошлое, свои ошибки и преступления перед Революцией.

Приехав за границу, читая с.р. орган „Воля России“, старое воскресло с новой силой. Эта травля русской революции, коммунистической партии, которую вели и ведут здесь с-ры, раздувая и крича об ошибках РКП, стараясь восстановить против нас Зап[адно-]Европ[ейский] пролетариат, крича об ужасах ЧК и красного террора — зародили мысль об необходимости во имя Революции и партии раскрыть перед пролетариатом и русским и международным истинное лицо п.с.р., ее тактику, ее преступления перед революцией.

И тут передо мной в частности стала тяжелая дилемма: с одной стороны интересы Революции, с другой — определенное сознание недопустимости с моральной точки зрения.

Я знаю, что все, что в интересах Революции — допустимо и оправдываемо. Интересы Революции — наша правда, наша мораль. И когда мы с Семеновым, перед отъездом его в Россию, обсуждали этот вопрос, то там решили оба — если интересы революции требуют, то мы должны, обязаны сделать, хотя бы с точки зрения человеческой морали, это было неприемлемо. <...> Как за террористическим актом должна последовать физическая смерть исполнителя, так за этим актом — моральная смерть. [А] может быть — смерть старой морали. Этого я еще не знаю. Все может быть. Одно только знаю — во имя интересов Революции должно быть сделано все.

Должна добавить Вам еще, что я задавала себе вопрос, старалась проверить себя — что может быть потому так тяжело, так мучительно подавать мне заявление ЦК, что у меня осталось что-то общее с с-рами, какая-то

связь. На это ответила и себе, отвечаю и Вам — нет. Ничего не осталось. Как они являются врагами революции, врагами РКП — так они и мои враги. И сейчас в работе, с момента, как мы находимся в противоположных лагерях, все методы борьбы допустимы.

Но когда я подхожу к вопросу о прежней работе, когда была идейно с ними за одно, пользовалась неограниченным доверием и использовываю тот период теперь для борьбы с ними — я определенно сознаю, что делаю поступок, недостойный честного революционера <...>

И знаете, что мучит меня — это мысль — „хорошо, с-ры скажут она предала нас, но и коммунисты должны сказать — она предала своих прежних товарищей по партии, но где же гарантия, что она и нас не продаст“. То, что скажут с-ры, неважно для меня — самый переход в РКП по их терминологии есть измена и предательство Революции. Но мнение товарищей по РКП для меня нужно. И тут стоит неразрешимый вопрос, принципиальный — допустимо ли с точки зрения революционной этики при переходе из одной партии в другую разоблачать тайны старой партии. И тут боюсь и не могу выбиться из заколдованного круга. Если это делается во имя Революции — то да, должно быть сделано, имеет свое оправдание и морально и этично. И в то же время с сознанием, что ты обязан и должен это сделать во имя Революции, как революционер, выступает просто человек, которому душевно, морально тяжело, а может быть и не под силу такой акт <...>

Еще раз повторяю, что у меня нет ни тени сомнения и колебания в том, что это я должна и обязана, внутренне обязана сделать для Революции. Но как совместить это с моралью и этикой — не знаю, не умею. И боюсь»<sup>6</sup>.

Коноплева пыталась спрятать свою связь с советскими спецслужбами и проблему инспирированности их с Семеновым показаний, но делала это не очень умело, даже в письме создавая логические и психологические неувязки. На одну из них уже на процессе указал М. Я. Гендельман в своей защитительной речи: «Я здесь спрашивал гражданку Коноплеву: а до того, как вы этот доклад послали Серебрякову, вы беседу вели с ним о всех тех разоблачениях, которые вы после в этом докладе сделали. Гражданка Коноплева категорически заявила: „нет, беседы не было никакой, это было первое мое заявление о всем том, что я знала“. Так ли это? И тон письма — оно здесь оглашалось — можно ли в таком тоне писать человеку, который находился в рядах коммунистической партии и до сего времени скрывал свое, как она выражается „кровавое прошлое“, теперь об этом прошлом говорить в таком спокойном тоне, точно продолжается товарищеская беседа. Ведь могла явиться мысль: теперь, когда узнают о том, что я участвовала в убийстве Володарского, Троцкого, Урицкого и так далее, простят ли мне то, что я втерлась в коммунистическую партию, простят ли то, что я молчала и, конечно, тон письма был бы совершенно другой. Нельзя с этими первыми кровавыми откровениями писать: „Дорогой Леонид Петрович“, подписываться „Ваша Лида“ и просить „сообщите ответ мне через Гришу“. Это определенно говорит о том, что обо всем том Советская власть в лице Серебрякова, а дальше я постараюсь доказать и других органов, была осведомлена о всем том, что послужило впоследствии канвой для вот этого узора, который вышивался и на предварительном следствии и на суде»<sup>7</sup>.

Подобной же экзекуции и обвинениям подвергся на процессе и Г. И. Семенов. Так, отвечая на вопрос Гендельмана о том, где и когда была написана его брошюра, Семенов стал путаться в сроках ее написания

и отказался назвать место ее создания, мотивировав это тем, что находился на нелегальной работе: «ГЕНДЕЛЬМАН: Великолепно, значит, Вы писали за границей в декабре 21 года и в январе 22 года. Скажите, Вы предварительно совещались с кем-либо, перед тем, как эту брошюру написать. СЕМЕНОВ: Да, совещался. ГЕНДЕЛЬМАН: С кем именно. СЕМЕНОВ: Да, я совещался не по вопросу о брошюре, как таковой, а меня интересовала моральная сторона. Возможно ли для меня выступить с разоблачениями. ГЕНДЕЛЬМАН: Вы решили этот вопрос с ГПУ. СЕМЕНОВ: Я считаю нужным раз навсегда сказать, что отвечать на подобного рода вопросы я категорически отказываюсь. Я имею моральное право так говорить. Я в продолжение многих лет, в продолжение долгих лет подставлял свою голову под пули, когда я находился в рядах партии социалистов-революционеров и здесь присутствующие члены Центрального комитета хорошо знают. ГЕНДЕЛЬМАН: Вы отвечаете не на вопрос. СЕМЕНОВ: И с тех пор, как я стал на другую точку зрения, на точку зрения Советской власти, сделался коммунистом, и с тех пор в продолжение годов я подставлял свою голову под пули. И потому я имею моральное право на этот вопрос не отвечать, а Вы копаться в том, правильно или неправильно я поступаю, не имеете права. ГЕНДЕЛЬМАН: Меня интересует не тот момент, что Вы правы или не правы, а другой факт. <...> Будьте добры ответить: долго ли до времени написания брошюры Вы находились за границей. Вы написали брошюру в декабре, а в ноябре и в октябре вы тоже были за границей. СЕМЕНОВ: Я говорю, что касаться вопросов моей нелегальной работы и времени моего пребывания в разных городах, Вы не можете. Я раз навсегда заявляю, что не буду отвечать по этому вопросу агентам, косвенным или прямым, союзников. Я отвечать отказываюсь и прошу таких вопросов не задавать»<sup>8</sup>. Ответы Семенова, особенно попытки скрыть время написания брошюры, хотя дата «2 декабря 1921 г.» стояла в конце опубликованного текста (на рукописи — 3 декабря. — К. М.), и была всем известна, сродни саморазоблачению и производят вполне определенное впечатление. Представляется, что Семенов называл более поздний срок окончания брошюры, желая избежать неудобного вопроса, почему же он не сразу сдал ее в типографию. Ведь вопрос о сдаче рукописи в печать был решен только 23 января 1922 г. постановлением Политбюро, предписавшим И. С. Уншлихту издать ее за границей в двухнедельный срок.

Подоплека вопросов Гендельмана видна по его ответам председателю, существовавшему на суде Г. Л. Пятакову: «Гр-н председательствующий, что касается того, что он имеет право не отвечать на вопросы, что он, подсудимый, вправе это делать, я напомию Вам, что когда слушались дела в военно-революционном суде, то были случаи, когда обвиняемым провокаторам выносились приговора, а потом они на велосипедах уезжали»<sup>9</sup>. Столь плохо замаскированного обвинения Семенова в провокаторстве и инсценированности всего процесса не смог стерпеть уже сам обвинитель Н. В. Крыленко, впрочем, не очень логично заявивший, что отказавшийся выполнять Берлинское соглашение Верхтриб ни одного из обвиняемых (включая Семенова) не оставит без наказания<sup>10</sup>.

Нарисованная Коноплевой и Семеновым схема побудительных мотивов и причин своего ренегатства, действительно, оставляла сомнения в их искренности и правдивости даже самой этой схемы. Н. И. Ракишников на допросе 8 марта 1922 г. недоуменно восклицал: «...Разоблачение, гр. Семенова и Коноплевой для меня является вполне неожиданным, тем более, что в феврале 1921 года в первый раз, когда я с ними виделся после

этих событий, мне довелось с ними беседовать часа два—три на тему о партийной этике в делах боевого характера, и они ни слова не заикнулись о недопустимости того отношения, которое в 1918 году было проявлено к ним со стороны Гоца и Донского. И вообще за все время моего пребывания в ЦК (до 9-го Совета партии, на котором я заявил о своем выходе из ЦК) ни со стороны гр. Семенова и Коноплевой, ни со стороны других членов боевого отряда не заявлялось никаких жалоб или претензий на действия Гоца и Донского или Центрального Бюро. Не подавалось таких жалоб в Совет партии»<sup>11</sup>. А ведь именно такая линия поведения для Коноплевой и Семенова была бы самой логичной и естественной в рамках ими же самими созданной схемы — постепенного разочарования и отхода от эсеровской партии.

А как относились к Семенову и Коноплевой, а главное — как квалифицировали их поведение с точки зрения и норм революционной субкультуры, с одной стороны, их бывшие товарищи по партии, а с другой — новые, т. е. коммунисты? Немедленно по выходе брошюры Семенова в Германии В. М. Чернов там же, в Германии, откликнулся на нее статьей в «Воле России», заголовком которой говорит сам за себя — «Иудин поцелуй». Его оценки были весьма недвусмысленны: «Ясно: перед Генуей, когда надо показаться в люди, причесанными и умытыми, когда даже в России спешно переименовывают „Чрезвычайки“ в „Политуправления“, при наркомвнуделе — разумеется, нужно и в Берлине кого-нибудь выпустить для обеления заплечных мастеров „гаражей расстрела“, „корабля смерти“ — знаменитого „подвала“. Но зачем же так наглядно? К чему выбалтывать секрет — почему и для чего появилась брошюра г. Васильева? Почему даже у простаков отнимать возможность думать, будто это просто случайное счастливое совпадение?»

Но кто же это такой — „видный член“ п.с.-р. г. Семенов-Васильев? Как известно, ныне попасть в „видные члены партии с.р.“ нет ничего проще: пусть любой Иван Иванович из „бывших людей“ этой партии сделает какую-нибудь гадость в пользу большевиков, и вся на содержании у них состоящая пресса немедленно возведет его немного не в лидеры. А г. Семенов-Васильев все же несколько больше, чем Иван Иванович Иванов: его имя однажды уже красовалось на страницах эсеровской прессы. Не очень давно на страницах Московск[ого] журнала „Народ“ — органа полу-отщепенской группы, принявшей название „меньшинства Партии Социалистов-Революционеров“, я прочитал, что специальным постановлением центрального бюро этой группы г. Семенов-Васильев из состава ее за непозволительные деяния исключен. Группа эта, между тем, отказалась от партии, чтобы повести по отношению к большевикам такую примирительную политику, на которую не давала им права партийная дисциплина. И уж если такая группа поспешила извергнуть из себя г. Семенова-Васильева, то... надо было ухитриться дать для этого достаточные основания.

И такие основания были. Дело в том, что г. Семенов-Васильев с какими-то поручениями группы был в Польше, едва не поплатился за это, был изобавлен от всяких „нежелательных последствий“ никем иным, как Б. Савинковым, ездил по его поручениям в Советскую Россию, и, — в конце концов — неизвестно: кому же служил сей благородный рыцарь? <...> И на какие средства изволил он в разные стороны свершать свои интересные путешествия <...> ? <...> на остатки каких из этих средств — или на какие новые средства — издана им его „современная“ для обеления Че-ка брошюра?

Г. Семенов-Васильев описывает в этой брошюре разные „преступления“ — с точки зрения большевистской законности — которые он совершал против „Советской власти“ совместно с разными крупными деятелями партии с.-р., или о которых он слышал из уст этих последних. <...> На языке старых жандармов это называлось „получить откровенку“. Но доселе полагалось, что „откровенки“ даются в четырех стенах полицейских учреждений. Вылезать с ними на свет Божий, преподносить их, как литературу — обычно стыдились. Г. Семенов-Васильев — из нестыдящихся.

Донской и Гоц — в тюрьме. „Своевременная“ брошюра г. Семенова-Васильева пытается изобличить одного из них — во взрывах ж.-д. мостов и поездов во время похода большевиков против территории Учредительного собрания, а другого — в разрешении производить террористические акты против большевистских лидеров.

В лучшем для г. Семенова-Васильева случае это — предательский донос. Это в лучшем случае; если бы все, что он говорил, было правдой.

<...> Но, зачем, спрашивается со своими замашками убежденного провокатора и предателя лезть в литературу? Неужели нельзя было ограничиться предоставлением своей „откровенки“ просто по начальству?»<sup>12</sup>.

В воззвании ЦБ ПСР, вышедшем 28 февраля 1922 г. в Москве, Семенова и Коноплеву характеризовали не менее хлестко и достаточно точно: «Новая политическая жандармерия, рожденная из гнойного чрева ВЧК, выступает обвинителем в свите двух уже опубликованных лжесвидетелей: одного типичного предателя-провокатора и другой наивной ренегатки. На очереди еще иные лжесвидетели, которые должны явиться, покорные вызову своих нанимателей»<sup>13</sup>.

В информационном сообщении эсеровской газеты «Голос России» от 3 марта 1922 г. об арестах в Москве, как о совершенно ясном деле, о Семенове и его книжке писалось следующее: «Формальным основанием для процесса послужила провокаторская брошюра агента большевиков Семенова-Васильева»<sup>14</sup>.

Меньшевик В. Войтинский, написавший брошюру «Двенадцать смертников», посвященную этому судебному процессу, пошел еще дальше и сравнил их с двумя фигурантами известного дела Бейлиса: Л. В. Коноплеву — с Верой Чеберяк, участницей шайки воров, убившей мальчика, но свалившей все на евреев; Г. И. Семенова — с «ренегатом-ксендзом Пранайтисом». Войтинский восклицал: «Дело Бейлиса по своей природе ближе к московскому процессу. Тогда — это было незадолго до войны, в разгар беспросветной реакции в России — русское правительство прилагало все усилия к тому, чтобы натравить темный народ на евреев. <...> Судьи превосходно знали, что представляют собой Чеберяк и Пранайтис, но делали вид, будто верят им. Правые газеты прославляли бескорыстие и правдивость этих свидетелей. Одновременно шла *инсценировка народного гнева*. <...> Но в царской России, где были уже свои Коноплевы и Семеновы, не нашлось судей, равных по низости Пятакову, Бухарину или Крыленко: Бейлис, как и другие обвиняемые, был оправдан.

Как видит читатель, московский Верховный Трибунал во многом просто повторил дело Бейлиса, лишь расширив его рамки, заменив обвинения евреев в употреблении христианской крови обвинением социалистов в грабежах, убийствах и шпионаже, да еще приделав к процессу трагическую развязку в виде известного приговора.

Что же удивительного в том, что общественное мнение, в свое время, возмущавшееся делом Бейлиса, с двойной энергией восстало против московского суда над социалистами-революционерами?»<sup>15</sup>.

Сложно комментировать столь сложносочиненное сравнение двух процессов и их фигурантов, а вот оценка Коноплевой как «наивной ренегатки» представляется достаточно адекватной. Помимо ее метаний и рассуждений ярким примером готовности «для дела революции» не жалеть никого, в том числе и своего товарища и друга — «Гришу» Семенова — служит следующий эпизод. В своей брошюре Г. И. Семенов «скромно» умолчал о том, что выпущенные в Ленина пули были отравлены и, более того, отравлены им собственноручно. Надо полагать, Семенов вполне разумно рассудил, что такой штришок не прибавит к нему любви и симпатий в среде его новых хозяев и друзей. Не исключено, что столь интересная подробность так и осталась бы в тени, если бы не вмешалась Коноплева. В специальной записке в ЦК РКП(б) она указала все неточности и ошибки, имевшиеся в брошюре Семенова, и завершила ее следующим пассажем: «Кроме того, должна добавить, что Семеновым опущен один, с моей точки зрения, достаточно важный момент, а именно, что пули исполнителей при покушении на В. И. Ленина и несостоявшего[ся] покушения на Л. Д. Троцкого были отравлены ядом „кураре“, который я получила при создании первой террористической группы, в марте 1918 г. от члена Ц.К. п.с.-р. В. Рихтера, а впоследствии передала его Боевому отряду, организованному Г. Семеновым»<sup>16</sup>.

Но если оценки и реакция на поведение Семенова и Коноплевой со стороны эсеров были достаточно предсказуемы, то негативная оценка их поступков со стороны части коммунистов, еще не разорвавших со старыми и более привычными для себя нормами поведения, была неожиданна для властей. Желание переломить столь неудобную для ренегатов ситуацию «двойного» осуждения, заставило зам. председателя ГПУ И. С. Уншлихта обратиться 22 марта 1922 г. в Политбюро ЦК РКП(б) с предложением об издании специального партийного циркуляра в отношении членов РКП(б), ранее состоявших в других политических партиях. Уншлихт сигнализировал о создавшейся ненормальной ситуации: «В связи с брошюрой тов. Семенова для ряда т.т., имеющих общее с ним прошлое, а теперь находящихся в наших рядах или работающих фактически, как коммунисты, создалось совершенно невыносимое положение. Как в среде, близкой к с.р., так и в обывательской среде, не способной понять всей глубины переживания этих товарищей, отношения к ним неизбежно выливаются в самой омерзительной форме. Для мешанской психологии они являются авантюристами, убийцами, взломщиками, „темными личностями“. Для психологии, связанной с с.р. работой людей и для самых с.р. они к тому же ренегаты, предатели и провокаторы.

Для ГПУ моральная чистота побуждений этих товарищей вне сомнения. ГПУ, учитывая невыносимую обстановку, создавшуюся в жизни товарищей, считает необходимым, чтобы в партийной среде они нашли бы полное понимание и нравственную поддержку.

Между тем, благодаря слабой осведомленности партийных масс, а также, благодаря наличию в партии элементов с мешанской психологией уже были случаи, когда вместо поддержки товарищи эти встречали такое же отношение, как во враждебной нам или в обывательской среде.

ГПУ просит ЦК РКП издать специальный циркуляр, разъясняющий обязанности членов партии выходцев из других партий, в отношении борьбы с контрреволюцией и дающий общие указания об отношении партии к роли Семенова, Коноплевой и др.

ГПУ просит ЦК РКП применять в отношении мешански мыслящих элементов партии, проявляющих враждебное отношение к бывш[им] с.р., принимающим участие в разоблачении п.с.-р., решительные меры»<sup>17</sup>.

Для сохранения в собственных глазах и глазах своих новых товарищей образа принципиальной революционерки были написаны и два заявления Л. В. Коноплевой, отправленные 26 февраля 1922 г. в ЦК РКП(б) и зам. председателя ГПУ И. С. Уншлихту. В первом она писала: «Прошу Центральный Комитет, в случае предания суду участников боевой террористической борьбы П. С.-Р. в 1917—1918 гг. вызвать меня на суд». Во втором она была уже более категорична: «В случае создания процесса по делу о боев[ой] и террор[истической] работе П. С.-Р. в 1917—1918 гг., категорически прошу вызвать меня»<sup>18</sup>.

Коноплевой и Семенову было крайне необходимо отстаивать на процессе образ честных революционеров. Клеймо ренегатов и провокаторов грозило погубить не только их репутацию, но и сорвать весь процесс, и уж по крайней мере смазать то впечатление, на которое рассчитывали власти. Поэтому на защиту «добраго имени» Семенова и Коноплевой встали не только их защитники, но и Григорий Ратнер, включенный в число подсудимых 2-й группы по собственной воле (надо полагать, не без совета коммунистов). Дискуссия о том, можно ли считать Семенова и Коноплеву предателями, стала составной частью вспыхнувшей на процессе дискуссии о сущности предательства и о его трактовках.

## **1.2. Дискуссия в зале суда о сущности предательства в контексте трактовок его границ этикой и «партийным правосудием» российского революционера.**

Во введении к книге мы уже говорили о том, что главной и уникальной чертой процесса с.-р., резко выделявшей его из всей, как дореволюционной, так и советской судебной практики, являлось то, что и те, кто судил, и те, кого судили, пытались доказать и себе, и друг другу и всему миру, что они-то как раз и есть истинные революционеры, а противостоящая им сторона и есть подлинные предатели революции и трудящихся.

По большому счету эта двуединая тема, своего рода две стороны одной медали «истинный революционер — гнусный предатель», в скрытой или явной форме проступала и в обвинительном заключении, и в речах обвинителей и защитников 2-й группы, и в репликах председателя суда, и в выступлениях и в последних словах подсудимых 1-й группы.

Дискуссия на эту тему началась задолго до начала процесса и активное участие в ней приняли обе противостоящие стороны. Но апогея она достигла уже на самом процессе. Именно этой теме были посвящены выступления почти всех ярчайших представителей противостоящих сторон, вступивших друг с другом в спор. Можно сказать, что обвинение (роль обвинителей играли не только обвинители, но и члены суда, защитники-коммунисты 2-й группы, и большая часть зрителей) играло одновременно на двух полях — правовом (и тогда Н. В. Крыленко сыпал юридическими терминами — о государственной измене, о призывах к свержению существующего строя) и политическом (и тогда разговор шел в рамках принципиально иной логики и в других терминах).

Вовсе не случайно, что вопрос о ренегатстве и отступничестве возник в первые же дни. Вовсе не случайно, что уже при рассмотрении первого фактического обвинения в адрес эсеров — деятельности Комитета спасения Родины и революции и того, что в советской историографии называли «юнкерским мятежом», при опросе первого же свидетеля — М. Я. Ракина-Броуна, обвинение и защитники-коммунисты столь подробно разбирали два эпизода, первый из которых был связан с отказом

А. Р. Гоца, Н. Д. Авксентьева и Б. Н. Синани от авторства заявления Комитета, второй — с обстоятельствами ухода арестованного Гоца из Смольного. Подчеркнем, что данные обвинения лежали не в правой сфере, а в сугубо моральной плоскости — ренегатство, отказ от своего честного слова и т. п. неподсудны УК, зато в глазах большинства людей (в том числе мыслящих категориями — честь и допустимые нормы поведения революционера) делали человека недостойным, автоматически обесценивая и те политические и идейные ценности, которые он пытался защищать.

Действительно, кто же станет прислушиваться к людям и партии, трусливо отказывающимся от своих действий, от своих обещаний, к партии предателей и клятвопреступников? Цель, которую ставили перед собой обвинители и защитники-коммунисты была очевидной — опорочить и обвинить в моральной нечистоплотности, чтобы раздавить политически. Во втором случае, Гоца пытались уличить как клятвопреступника, нечестного человека, который дал честное слово и ушел из Смольного. Но обвиняя Гоца — метили дальше, ведь подоплека была очевидной — в первом случае Гоцу, а в его лице и всему эсеровскому руководству, пытались вменить «врожденный» порок — ренегатство и публичный отказ от своих деяний (связав это с отказом от причастности к покушениям на В. Володарского и В. И. Ленина). Для усиления впечатления и на самом процессе и в советской печати любили в качестве примеров приводить истории из прошлого эсеровской партии — дело Азефа, отказ от причастности к подготовке покушения на царя весной 1907 г., дело Рутенберга и т. д. Особо подчеркнем, что часть упреков из исторического прошлого была заслуженной, другое дело, что они доводились до абсурда и служили материалом для не менее абсурдных выводов — когда, например, знак равенства ставился между Азефом и Черновым, или когда всю партию эсеров объявляли партией провокаторов и предателей.

Безусловно, подобных историй, когда руководство политической партии и ее лидеры юлили и выпутывались, или когда их поступки с точки зрения морали, как общечеловеческой так и революционной были небезупречны, было немало на счету любой российской партии. Немало было их и у большевиков, о чем тот же Гоц не преминул и вспомнить. Но за получившего обвинения в трусости Ю. М. Стеклова, в июльские дни 1917 г. перебравшегося в Таврический дворец и ругавшего большевиков, или за А. В. Луначарского, получившего не менее тяжкое обвинение, моментально вступался председатель суда, говоривший, что судят Гоца и эсеров, а не большевиков. Не менее решительно им пресекалось при поддержке зала и указание на то, что Ленин и его единомышленники «изнасиловали» волю съезда Советов, и более того — обманывали и манипулировали своими собственными сопартийцами, часть из которых сомневалась в необходимости захвата власти. Зал реагировал криками, шумом и смехом. Но Г. Л. Пятакову было не до смеха, он понимал, что подобные контратаки Гоца разбивают построенную обвинением схему подмены понятия и очернения своего политического противника обвинениями в нечистоплотности, лжи, трусости и пр.

Показателен случай, когда Гоц на попытку Крыленко квалифицировать его действия в 1917—1918 гг. (когда большевики сами взорвали правовое поле и разгоном Учредительного собрания не оставили иного поля противостояния себе, кроме вооруженной борьбы) в юридических терминах по только что принятому уголовному кодексу отвечал весьма эмоционально. 16 июня 1922 г. Крыленко после допроса Коноплевого попросил Гоца прокомментировать факт прощупывания им в 1918 г. умонастроения

просоветски настроенного генерала Парского и прокомментировал этот факт, как «склонение к государственной измене». А. Р. Гоц взорвался. Между ними произошел следующий диалог:

«Крыленко: Значит, с точки зрения обычной терминологии: в целях склонения к государственной измене.

Гоц: Это, гр. Крыленко, предоставляю Вам выражаться в ваших терминах, как Вам угодно. Свою точку зрения я сформулировал.

Крыленко: Ясно.

Гоц: Я считаю, что если считаться с тем, кто является государственным изменником, кто предавал Россию, кто предавал Революцию, то это Вы, а не мы, вы предатели России, (в публике шум, крик и свист). Это мой ответ вам и всем тем крикунам, крики которых меня очень мало интересуют»<sup>19</sup>.

В ходе дискуссии о предательстве, с одной стороны, широко практиковалась апелляция к прежнему революционному опыту и нормам революционной этики, с другой, не менее широко использовалась софистика и подмена понятий и т. п. Область применения обвинения в «предательстве» оказалась не только широкой, но и разнопорядковой. Обвинения в предательстве таких людей, как Семенов, Коноплева, Г. Ратнер, парировались обвинениями в предательстве... членами эсеровского ЦК интересов революции и народа, последние отвечали тем же самым своим обвинителям. Осмыслив проблему предательства сквозь призму политической целесообразности, Н. И. Бухарин выстроил весьма своеобразную алгебраическую формулу предательства, за что подвергся уничтожительной, но справедливой критике со стороны Е. М. Ратнер.

Попытаемся исследовать различные уровни и аспекты спора о сущности и границах предательства, полыхавшего на процессе, в контексте трактовок предательства традиционной революционной этикой и «партийным правосудием» — практикой судебно-следственных структур ПСР и обеих фракций РСДРП. Это поможет нам посмотреть на спор 1922 г., максимально поднявшись над ним, посмотреть на него в контексте споров и позиций, устоявшихся в революционной среде задолго до описываемых событий. Оговоримся, что наш экскурс и выводы не исчерпывают этой интереснейшей и важнейшей проблемы, т. к. она фактически намечала для революционера границы допустимого (регулируя вторую часть жизненно необходимого для существования любого социума свода установок, своего рода — «что такое хорошо и что такое плохо»).

Вопросы о том, что есть предательство и где находится та грань, за которой борьба революционера за смягчение, скажем, тюремных невзгод или его идейные метания и поиски перерастают в нечто совершенно неприемлемое для его товарищей, не были для революционеров чем-то отвлеченным и академическим, являясь скорее вопросами выживания и самосохранения. За время бытования революционной субкультуры (с 60-х гг. XIX в. до конца 30-х гг. XX в., когда были физически уничтожены ее носители) понимание того, что есть предательство и что в него включается, формировалось постепенно, болезненно и не без серьезных разногласий.

Если попытаться выстроить иерархию ступеней предательства (в том числе и отступничества), по убыванию их одиозности и серьезности так, как это виделось революционерам, то получится следующая «лестница»: «секретное сотрудничество» революционера с полицией, или «провокачество»; «откровенное» показание на допросе, давшее в руки полиции материал для арестов и обвинения его товарищей; сотрудничество с судом и поддержание обвинения на судебном процессе против своих товарищей

(в качестве подсудимого или свидетеля); «выпутывание» на допросе, тем не менее давшее в руки полиции материал для арестов и обвинения товарищей; прошение о помиловании («колонисты», «прошенисты», «подаванцы») и прошение о смягчении участи; дача объявления в газету о разрыве со своей партией и отказе от своих убеждений или наличии разногласий с программой и тактикой партии (в советское время) («продаванцы»); дача подписки (в советское время). Впрочем, это достаточно условная схема, куда не включено, так сказать, «идейное предательство», т. е. полный отказ от революционных убеждений и переход в противоположный лагерь (в качестве одного из наиболее ярких примеров можно привести Льва Тихомирова).

Наиболее одиозным и ярким видом предательства, так сказать, предательством в «чистом виде», считалось «секретное сотрудничество» революционера (по терминологии жандармов и чекистов), или «провокачество» (по терминологии самих революционеров). Проблема провокации вставала во весь рост по мере развития революционного движения уже в 60—70 гг. XIX в. Свою весьма ощутимую лепту появившиеся среди пропагандистов предатели внесли и в грандиозную волну арестов участников «хождения в народ». По воспоминаниям Льва Дейча, «причиненный ими вред невольно наталкивал многих пропагандистов на мысль о мести, о необходимости расправы с ними, чтобы, действуя устрашающим образом, удерживать других от предательства. Но в течение первых лет подобные взгляды не выходили из области теории, т. к. пропагандисты были крайне мирными людьми. Только летом 1876 г. впервые произведена была попытка подобной расправы» (речь идет о знаменитом деле Н. Гориновича, порождающем встречные вопросы о допустимости подобной расправы с предателем).

В дальнейшем такие расправы получили более или менее широкое распространение в годы революции 1905—1907 гг. и после ее поражения. Самая громкая история подобного рода — это расправа БО ПСР над членом ЦК ПСР Н. Татаровым в 1906 г. Несмотря на то, что для расследования вины Татарова была в 1905 г. создана следственная комиссия из членов ЦК ПСР В. М. Чернова, Б. В. Савинкова, А. А. Баха и Н. С. Тютчева, убит Татаров был все же без приговора суда, да и сам факт этого убийства ЦК ПСР на себя взял только три года спустя в феврале 1909 г. Но чаще провокаторов все же судили партийным судом и приговаривали, как правило, к смерти<sup>20</sup>.

Все вышесказанное относится к совершенно ясному и бесспорному случаю сознательного провокачества, а вот о допустимости поступления в секретные сотрудники с «революционными целями» в революционной среде долго велись споры. И хотя после трагического опыта Дегаева большинство революционеров, отрицательно относясь к таким экспериментам, пыталось утвердить запрет на это не только в неписаном «обычном праве» революционера (по меткому выражению Савинкова), но и в писанных партийных циркулярах, практика эта все же продолжалась, о чем свидетельствуют, скажем, постановления III и IV Совета эсеровской партии (июнь 1907 и август 1908 г.), которые констатировали, что «вступление в переговоры с полицией без разрешения ЦК влечет за собой исключение из партии»<sup>21</sup>. Более того, роспуску подлежала любая партийная организация, дававшая разрешение на вступление своего члена в секретные сотрудники с той или иной целью. Но нарушали это постановление не только «товарищи-провокаторы», но и партийные руководители высокого ранга.

Столь парадоксальное и режущее слух словосочетание «товарищ-provokator» было употреблено знаменитым охотником за провокаторами В. Л. Бурцевым в адрес А. А. Петрова<sup>22</sup> — эсера, завербованного весной 1909 г. охранкой и признавшегося в этом своим товарищам, толкнувшим его во искупление греха на совершение террористического акта (о чем 23 августа 1909 г. И. И. Фондаминский, Б. В. Бартольд, Б. В. Савинковым и А. А. Петровым был составлен и подписан акт<sup>23</sup>). Не сочтя возможным признать, что руководитель боевой группы Савинков и представитель ЗД ЦК Фондаминский втайне от членов ЦК, находившихся в России, и от членов ЗД ЦК грубо нарушили формальные установления двух Советов партии, руководство партии сочло за благо затушевать, сгладить все это дело, пойти на лживое сообщение.

Той же весной 1909 г. эсер-максималист М. Г. Рипс, завербованный в конце 1908 г. начальником Московской охранки, получил от своего «шефа» приказ о вступлении в БО ПСР. Раскаявшийся Рипс сознался своим товарищам-максималистам, и те поручили ему во искупление предательства застрелить приехавшего к нему за границу фон Коттена<sup>24</sup>. Дело получило широкую огласку, за покушение на фон Коттена Рипса судили за границей и оправдали, а престиж израненного жандарма только вырос в глазах его начальства. Принимая предложение о сотрудничестве, Рипс, по его словам, рассуждал так: «а что если воспользоваться этим предложением, войти к ним в доверие и этим путем, во-первых, постараться узнать всех провокаторов, а затем отомстить, но так, чтобы они помнили это на всю свою гнусную жизнь, чтобы знали, что предложения эти могут и им обойтись слишком дорого»<sup>25</sup>.

Объясняя свое вступление в сношения с охранкой «контрразведывательными целями» встречались не только у эсеров, но и у социал-демократов. Практически все рассмотренные нами дела (т. е. случаи, ставшие предметом разбирательства партийного или товарищеского суда, партийной или межпартийной следственной или судебной комиссии) такого рода похожи друг на друга, как братья, отличаясь лишь нюансами аргументации самих «товарищей-provokatorов». Так, например, Б. Ф. Вишнеvский, чье дело разбиралось в мае — декабре 1910 г., считал свое сотрудничество с охранкой наиболее радикальным средством в борьбе с секретным сотрудничеством, ибо, получая от своего полицейского начальства директивы, он смог бы узнавать других провокаторов в тех своих товарищах, которые проводили в жизнь аналогичные директивы<sup>26</sup>. А на вопрос о допустимости получения денег от охранки ответил, что «на это у него своя точка зрения» и что деньги на партийные нужды можно внести анонимно<sup>27</sup>. «Володя» (Давид Вассер, Рахмет Фридман, Иосиф Ан), занимавшийся транспортом социал-демократической литературы, преимущественно меньшевистского направления, будучи 6 мая 1909 г. арестован в Киеве и препровожден в охранку, принял предложение о сотрудничестве, рассчитывая использовать сложившуюся ситуацию в интересах партии: «Я <...> думал сохранить себя и быть полезным в будущем для организации, зная, как нужны теперь люди, кроме того я думал предать все гласности и таким образом дискредитировать охранку», — говорил он комиссии, разбиравшей его дело в Париже в мае 1909 г. (по приезде за границу он сам рассказал товарищам о своем вступлении в сношения с охранкой). В своем последнем слове на суде «Володя» объяснял свое поведение не трусостью, полагая, что своей работой доказал, что не трус, а тем, что привлек обманывать полицию и не видел в этом ничего плохого<sup>28</sup>. Ю. Данаев, признавшийся своим товарищам во всем

соделянным, в своем письменном заявлении в редакцию «Голоса социал-демократа» в ноябре 1912 г. подробно изложив обстоятельства своего согласия на сотрудничество с охранкой, подчеркивал, что «полагал тогда, что такая насущная для успеха партийной работы цель, как открытие провокатора в верхах партии стоит того, чтоб из-за нее рискнуть вступить в сношения с охраной»<sup>29</sup>.

Разбиравшие эти дела партийные органы, не сговариваясь, единодушно сочли всех троих виновными во вступлении в сношения с охранкой, хотя и с революционными целями, и подчеркивали, что «уже один факт принятия предложения, сделанного Охранным отделением, стать его сотрудником, является в высшей степени предосудительным и не оправдывается никакими соображениями»<sup>30</sup>. Тем не менее в силу того, что подсудимые сами заявили о своих контактах с охранным отделением, они не были исключены из партии, а лишь на разные сроки отстранены от партийной работы и участия в жизни организаций.

В длившемся почти два года разбирательстве по делу Л. Г. Бельского ситуация была несколько иной, ибо, оказавшись в эмиграции, он сам потребовал суда над собой для опровержения дошедших до него слухов об обвинении его в провокаторстве. Однако рассказанная им история оказалась настолько фантастичной, а все его показания настолько оставляли ощущение неискренности и стремления подать свои поступки в более выгодном свете, что после долгих перипетий и отяжек и после изменения формулировки обвинения (не провокация, а сношения с охранным отделением) судебная комиссия, созданная ЗБЦК РСДРП, «признавая, что не только сношения, но и попытки сношений с охранным отделением — безразлично, в каких целях — революционных или неревolutionонных недопустимы для члена партии», единогласно сочла необходимым «предложить ЗБЦК РСДРП исключить Леонида Бельского из РСДРП». Этот приговор был утвержден ЗБЦК<sup>31</sup>.

Оценивая феномен «товарищей-провокаторов» в целом, надо отметить, что, на наш взгляд, следует с очень большой осторожностью относиться к их рассуждениям и объяснениям о своих «контрразведывательных замыслах», которые, как правило, прятали куда более прозаические, а то и прямо шкурные интересы.

Так же единодушно, как сношения с охранкой, практически всеми и всегда в революционной среде осуждалась дача «откровенки» (откровенных показаний) как полная и сознательная (даже если человек пошел на этот шаг под давлением) выдача своих товарищей, и подобные поступки оправданию не подлежали. Так, эсер С. А. Никонов вспоминал, что когда в 1887 г. он попал в ссылку в Минусинск, там было два ссыльных, живших вне колоний и не принятых в товарищескую среду именно из-за того, что они выдавали своих сопроцессников<sup>32</sup>. Впрочем, из каждого правила бывают исключения, и таковые мы находим в случаях с С. Гольдбергом (варшавским студентом, оказавшимся в ссылке в Восточной Сибири) и В. Ульяновским (в 1906 г. проходившим по одному из дел польской партии «Пролетариат»), имевших место в разное время (первый — в 80—90-е гг. XIX в., второй — в 1911 г.). В обоих случаях товарищи хлопотали за своих сопроцессников, оправдывая дачу ими показаний тем, что действовали они «не злобно, а по глупости» (Ульяновский) и «под влиянием аффекта», не желая выгородить себя, а напротив, себя впутав больше других (Гольдберг).

Прощение революционера о смягчении своей участи, не влекшее за собой непосредственного, прямого ущерба свободе и жизням его товарищей, создавало почву для конструирования (прежде всего самими

«прошенистами») различных оправдательных схем своего поступка. И тем не менее, уже к 90-м гг. XIX в. правилом (но не аксиомой) становится следующее — революционер, подавший прошение о помиловании, из каких бы соображений он при этом не исходил, в глазах своих товарищей превращался в отступника, а то и «полуренегата». Ни о какой возможности дальнейшей революционной деятельности и сохранения товарищеских отношений даже речи не велось: подавший прошение не на словах, а на деле немедленно, как только это становилось известным его товарищам, абсолютно неотвратимо и необратимо переставал считаться революционером. Естественно, власти рассматривали каждый такой случай и как свою победу над этим конкретным человеком, и как сильнейший удар по его товарищам, в чью среду вносились сомнения, разочарование в товарище и, конечно, искуса, пойдя той же дорогой, существенно облегчить свою долю: приговоренный к смерти получал жизнь, отбывающий каторгу отправлялся на поселение<sup>33</sup>.

«Уход из тюрьмы вследствие поданного прошения на нашем диалекте назывался переселением „в колонию“, — писал в своих мемуарах о Карийской каторге 80-х годов народник, а позже меньшевик Л. Г. Дейч. — Наименование „колониист“, произносившееся с брезгливостью, стало вскоре довольно популярным, и его считали позорным не только все политические ссыльные в Сибири, но также и наиболее порядочные местные обыватели». Впрочем, самому мемуаристу «казалось, что между ними („колонистами“. — *К. М.*) следовало отличить более и менее виновных», и поэтому он «считал несправедливым резко осуждать всех без различия „колониистов“»<sup>34</sup>. И один из описанных им случаев позволяет нам указать на противоречивость и «неустоявщность» отношения к подаче прошения в среде товарищей. С одной стороны, товарищи по процессу посоветовали В. С. Ефремову подать прошение, чтобы спасти себе жизнь (и на каторге он был принят в товарищескую среду), а с другой — уже в самой этой среде существовало восприятие этого поступка как позорного, что заставляло Ефремова жалеть о нем<sup>35</sup>.

Практически о том же вспоминает известная эсерка Мария Спиридонова, проведшая на каторге десять лет (но уже в XX в.) — говоря о том, что не позволяя делать политзаключенным их тюремный «неписанный устав», на первое место она поставила подачу прошения о помиловании<sup>36</sup>. (Отметим, что в данном случае писаное и неписаное право совпадали, ибо весной 1907 г. ЦК ПСР принял резолюцию об исключении из партии подавших «прошения о помиловании или о смягчении участи»<sup>37</sup>). Впрочем, как это ни покажется странным (с учетом ее темперамента) сама Спиридонова, как и Дейч, не относилась к числу непримиримых: «Невозможно поднять руку с камнем на тех заключенных товарищей, которые в своем малодушии доходили до самого позорного конца — до подачи прошения о помиловании. <...> Надо только представить себе, что выделявало над каторжанами, начиная с 1907 и кончая 1917 годом, правительство, <...> чтоб взглянуть иначе на всех сдавшихся, опустившихся, павших, чтобы сразу потерять уверенность в своих собственных силах и перестать требовать терпения от тех, у кого, может быть, сил было меньше или страданий больше. Надо удивляться обратному: огромности выдержки, молчаливому долголетнему страданию без помощи и надежды сотен и тысяч людей, донесших до конца безропотно свой крест»<sup>38</sup>.

Впрочем, разногласия в среде революционеров по отношению к «прошенистам» были не только на каторге, но и на воле. После разгрома «Народной воли» и ухода с арены последних ее деятелей, их место заняла

«молодая поросль» революционеров, порой колебавшаяся между традициями и принципами, оставленными их именитыми предшественниками, и тем, что они рождали сами в отравленной атмосфере предательства, ухода в личную жизнь, многочисленных прошений о помиловании. К. Р. Кочаровский прямо указывал, что сначала большинство членов его кружка резко отрицательно относилось к «подаванцам» и даже хотело внести этот пункт в свою программу, но затем кардинально смягчило его, решив, что «при известных обстоятельствах мы подали бы прошения. <...> А именно при тех <...> обстоятельствах, когда максимум мести врага грозит за минимум достигнутого результата и когда при этом данные лица не являются центральными, видными лицами или не принадлежат к длительной, имеющей глубокую традицию партии»<sup>39</sup>. Попав в тюрьму, несколько человек из их кружка, включая самого Кочаровского, подали прошения<sup>40</sup>.

К началу XX в. в революционной среде точка зрения о недопустимости «подачи прошения о помиловании» и невозможности после него революционной деятельности превалировала над позицией менее эмоциональной и более прагматичной — что нужно учитывать обстоятельства, мотивы, нанесенный вред и потенциальную пользу данного революционера. Последняя проявилась в половинчатом решении созданной по требованию К. Р. Кочаровского партийной комиссии в составе Л. Э. Шишко, М. Р. Гоца и В. М. Чернова, которая 3 июня 1903 г. постановила, что «в факте подачи прошения о помиловании на имя царя имеется в наличности первый признак такого акта, как „рenegатство“, а именно — хотя бы временное отречение от своих убеждений. <...> Факт подачи прошения о помиловании, из каких бы мотивов он ни исходил, совершенно закрывает подавшему прошение доступ в революционные организации; что касается до личности Кочаровского, то комиссия, собрав сведения от лиц, хорошо знающих его жизнь за последние годы, заявляет, что поведение К. Р. Кочаровского после ссылки дает ему полное нравственное право выступать на поприще культурной и научно-общественной деятельности»<sup>41</sup>. Когда же все документы этого дела были отправлены на суд двух авторитетнейших деятелей революционного движения Н. В. Чайковского и П. А. Кропоткина, последние самым решительным образом осудили подачу Кочаровским прошения, подчеркнув, что «человек, который раз запутался в софизмах и позволил себе поступок, позорящий революционное дело, должен сам понять, что деятельность в рядах революционных партий для него закрыта, и что ему самому не следует добиваться реабилитации у современных революционеров»<sup>42</sup>.

Прощений о помиловании было особенно много после того как в годы революции 1905—1907 гг. в социалистические партии пришли десятки тысяч новых членов, немалая часть которых оказалась неспособна к испытаниям, вскоре выпавшим на их долю. Кроме того, на каторге оказалось немало «жертв столыпинской скорострельной юстиции», и, по мнению М. А. Спиридоновой, из того, на что пускались эти «тоже политические» для того, чтобы вернуть себе ни за что ни про что утраченную свободу, прошение было, пожалуй, самым безобидным<sup>43</sup>. В то же время в революционной среде даже одного подозрения, что человек совершил этот поступок, бывало достаточно, чтобы испортить его репутацию. В этом плане весьма характерна история с освобождением из тюрьмы в ноябре 1911 г. Д. Ф. Сверчкова. Для предотвращения слухов, порочащих его революционную честь, в газете «Будущее» за подписью Л. Д. Троцкого была опубликована заметка, в которой подробно излагалась вся история

Д. Ф. Сверчкова и подчеркивалось, что «Никаких прошений Д. Ф. сам *никуда не подавал*, даже не знал ничего определенного о хлопотах своих родных»<sup>44</sup>.

О том, насколько трепетно относились революционеры ко всем действиям, которые даже в первом приближении могли быть сочтены уступкой властям и изменой своим взглядам в форме подачи прошения о помиловании, свидетельствует история, рассказанная эсером С. А. Никоновым, врачом по специальности, в 1904 г. отбывавшим ссылку в Архангельске. Получив заинтересовавшее его предложение «занять место заведующего одним из земских отрядов на Дальнем востоке»<sup>45</sup>, Никонов в своем письме к главноуправляющему Красным крестом писал, что его «согласие идти на войну <...> ни в коем случае не должно рассматриваться как выражение раскаяния или сожаления о содеянном»<sup>46</sup>. На ближайшем же общем собрании ссыльных Никонов поставил товарищей в известность о своем заявлении, «так как товарищи относились отрицательно к службе в действующей армии». Ссыльные не нашли в его заявлении «ничего, противоречащего партийной этике или положению поднадзорных, и предоставили ему в этом отношении свободу действий»<sup>47</sup>.

После Октября 1917 г. у властей появилась потребность придумать нечто адекватное «прошению о помиловании», но не только для сидящих в тюрьмах, но и для находящихся на свободе эсеров, меньшевиков и анархистов — чтобы дать им возможность проявить свою лояльность к власти. Одной из таких форм стало помещение в советских газетах объявления о своих идейных и тактических разногласиях с эсеровской (или меньшевистской) партией и выходе из нее, причем этого было достаточно для выхода из оппозиционной партии, даже и без формального заявления в партийную организацию. Таких объявлений было много в 1918—1922 гг., но практиковалась эта форма и позже.

Эсерка Е. Л. Олицкая вспоминала о том, какие чувства в 1925 г. пережил эсер А. В. Федодеев, находившийся на Соловках, когда узнал о подобном поступке своей жены, оказавшейся с ребенком на руках в ссылке, а затем переведенной к родным: «Долго и упорно бегал он по кругу нашего прогулочного двора. Все сочувствовали ему, все понимали его. Люди, давшие в печать письмо с отказом от партии, отрехились от своего прошлого, от всего того, за что мы шли в тюрьмы и ссылки, во имя своих узких личных интересов, осуждались нами. <...> В нашей среде для них был создан особый термин, выдававший наше отношение к ним, — „продаванец“»<sup>48</sup>.

Прекрасно видно, что термин, используемый социалистами середины 20-х гг. — «продаванец» — родился от более раннего, еще дореволюционного — «подаванец», т. е. подавший прошение о помиловании, что указывает объединение в восприятии революционеров столь разных форм, как прошение о помиловании и объявление или письмо в газету, по главному, что в них содержалось — отречение от своих идеалов и выражение лояльности власти. Более того, мы можем констатировать, что отношение прежних товарищей становится максимально жестким (бескомпромиссное «продаванец» куда более ясно выражает отношение к данному человеку, чем иронично-неопределенное «подаванец»), ибо оно было адекватным ответом на беспрецедентное давление властей и проявлением необходимости защищать революционную среду от размывания.

Другой и, надо сказать, более мягкой, более завуалированной формой демонстрации властям своей лояльности и частичного отречения от своих прежних взглядов стала так называемая «подписка». Как мы уже

отмечали выше, впервые она была пушена в оборот, когда вышел в свет декрет ВЦИК от 26 февраля 1919 г., принятый в ответ на решение эсеровской конференции о прекращении вооруженной борьбы с большевиками и продолжении ее против белогвардейских режимов. Но специфика этой амнистии была в том, что ей подлежали только те эсеры, которые давали подписку установленного образца с отказом от «от вооруженных и других противозаконных действий против советской власти»<sup>49</sup>.

Брали чекисты и подписки, написанные в «произвольной форме». Так, например, арестованный в августе 1920 г. бывший шлиссельбуржец В. Н. Левтонов был отпущен на свободу после того, как подписал следующий документ: «Даю настоящую подписку в ВЧК в том, что я, Владимир Николаевич Левтонов, вышел из партии с.-р. с августа 1918 г.; в настоящее время никакого участия в работе партии не принимаю и обязуюсь впредь также не вступать в организацию правых эсэров и других антисоветских партий, а также не иметь никаких связей с лицами, заведомо мне известными, которые участвуют в нелегальных организациях, а также сообщать в ВЧК (в секретный отдел) о переменах своего адреса. 27-го сентября 1920 года. Ярославль Вл. Левтонов»<sup>50</sup>.

Не следует рассматривать получение свободы взамен на такую подписку как свидетельство наивности чекистов, или как свидетельство их мягкого отношения к социалистам. Чекисты очень хорошо понимали, что они делают — цена свободы была вполне оплачена честным именем революционера, для которого дорога к партийной деятельности закрылась. Как уже отмечалось, для «подписанта» дача подписки значила в глазах всех заинтересованных сторон (власти, подписанта и, самое главное, его товарищей по партии) капитуляцию перед властями и безусловный уход из партии. Продолжение партийной работы становилось для него невозможным, так как товарищи по партии смотрели на него как на отступника.

Впрочем, жизнь всегда богаче, казалось бы, раз и навсегда утвержденных правил, что подтверждается инцидентом с эсером В. Филипповским, одним из членов правительства самарского Комуча, а позже одним из руководителей борьбы против А. В. Деникина на Юге России. В своем письме В. Филипповский подробно описывал политическую ситуацию в Черноморье, сложившуюся в ходе борьбы «против Деникинской армии, организованной и возглавляемой партией социалистов-революционеров. Эта борьба закончилась изгнанием добровольцев из Черноморья и созданием Советской Республики, просуществовавшей самостоятельно до окончательной ликвидации реакционных сил на юго-востоке России. <...> В революционном Черноморье, отделенном от остальной России барьером реакции, мы имели слабые, как потом оказалось, часто совершенно неверные сведения о том, чем жила и как жила Советская Россия. В Черноморье создался язык взаимного понимания между социалистическими партиями, существовал формальный единый социалистический фронт и была полная свобода социалистического мнения. Не отказываясь от лозунгов народовластия, мы считали, что в данный исторический момент в местных условиях, партия социалистов-революционеров должна провозгласить лозунг диктатуры трудового народа. Наша советская система была построена на принципах свободно выбранных советов и на политическом равноправии крестьян и рабочих. Мы не мыслили себе в дальнейшем возможность вооруженной борьбы с большевизмом и хотели верить, что в будущем после окончательного разгрома реакции, когда сомкнутся наши ряды, мы сумеем

найти общий язык с коммунистами и изливать наши разногласия путем борьбы мнений и апелляцией к народу для разрешения наших разногласий».

Однако после изгнания белогвардейцев и установления в регионе большевистской власти легальное существование эсеровской партии было недолгим. Вскоре все видные местные эсеры были арестованы и отвезены в Екатеринодар, а затем, после 4-месячного пребывания в тюрьме, в Москву. На допросе они заявили, что в общем и целом стоят на тех же позициях, которые занимали в Черноморье. От них потребовали «письменного закрепления этих позиций в форме подписки. После коллективного обсуждения этого вопроса сообщая, и затем нашей группой четырех, мы решили сделать этот шаг, противоречащий революционным традициям. Делали мы это вполне сознательно, учитывая, как нам тогда казалось, все его последствия, как парт[ийные], так и персональные. Подписка для нас не освещалась моментом, уводящим нас ни по форме, ни по существу от партийно-революционной работы. Самую же унижительность факта дачи подписки мы решили перешагнуть, принимая в соображение интересы революции и партии, как мы их понимаем в тот момент. <...>

Должен прибавить, что не политическая усталость или упадочные настроения, и, наконец, не боязнь тюрьмы руководили нами. Это мы доказали уже тем, что по освобождении принялись за партийную работу, несмотря на остающиеся у нас некоторые расхождения с мнением ЦК, которые мы стремились изжить в самом процессе работы. Теперь я вижу, что этот шаг все же был недостаточно тогда продуман и является безусловно ошибкой, как по его последствиям, так и по тем политическим и тактическим основаниям, которые лежали в основе его, и готов сделать все от меня зависящее для ликвидации всего инцидента в формах которые ЦК сочтет нужным мне указать. Член партии социалист[ов-]револ[юционер] В. Филипповский»<sup>51</sup>.

Данное письмо, написанное в тюрьме, было перехвачено властями и до адресата не дошло. Вероятнее всего, что в той или иной форме В. Филипповский довел суть своего заявления до членов ЦК, тем более, что подавляющая их часть скоро сама оказалась в Бутырке, где связаться с ними было лишь «делом техники».

Очевидно, узнав, что его заявление в ЦК ПСР от 17 января 1922 г. перехвачено чекистами, В. Филипповский написал через три дня еще одно заявление (которое, впрочем, также попало в руки властей). Содержание этого письма было более кратким изложением первого заявления и завершилось оно тем же выводом: «Считаю, что тогда совершил тяжкую политическую ошибку, нарушив партийные традиции и дисциплину. 18 января мною подано заявление в Президиум ВЧК об аннулировании моей подписки»<sup>52</sup>. Мы не знаем об отношении ЦК ПСР к этому инциденту. Представляется, что Филипповский, безусловно, имел очень серьезные шансы на «реабилитацию», т. к. в его пользу говорила и дезориентация, вызванная отсутствием связи с центром и своеобразной политической ситуацией в том регионе, отсутствие «шкурных» мотивов (по крайней мере, в отличие от подавляющего большинства «подписантов» и «прошенников» вменить ему это в вину было значительно сложнее) и, наконец, — признание своего поступка «безусловной ошибкой» и готовность исправить ее, а кроме того, заявление властям об аннулировании подписки.

То, что на самом процессе разгорелась жаркая дискуссия о предательстве, было вполне закономерно. Как мы уже отмечали, одной из задач обвинения, подсудимых 1-й группы и их защитников-коммунистов, вы-

ступавших, как правило, единым, консолидированным фронтом против подсудимых 1-й группы было защитить от обвинений в предательстве Семенова и Коноплеву, так как это грозило лишить значимости для власти весь организованный ими процесс. Впрочем, обвинения в предательстве относились не только к ним. По меткому выражению М. А. Лихача, по сравнению со всеми предыдущими политическими процессами в истории революционного движения на процессе с.-р. «элемент предательства возведен как бы в квадрат». Говоря об этом в своем последнем слове, Лихач уточнял свою мысль: «Мы имеем в данном процессе не одну скамью подсудимых, на которых сидят обвиняемые, которых обвиняют в определенных преступлениях. Мы имеем здесь две скамьи подсудимых: одна так называемая 1-я скамья, где сидит Центральный Комитет партии эсеров и все члены, оставшиеся верными партии социал-революционеров, — и другая скамья подсудимых, главное ядро которых составляют бывшие члены партии социал-революционеров, перешедшие в коммунистическую партию, принятые в эту коммунистическую партию и по директивам этой коммунистической партии действующие и обвиняющие в настоящем процессе. И вот почему, когда гражданин Членов говорил здесь о какой-то третьей стороне, якобы представленной в настоящем процессе, то это так же, как и многое другое является сплошным лицемерием. В настоящем процессе представлены две стороны — партия социал-революционеров и политическая партия, ее обвиняющая в определенных преступлениях. <...> Если вы посмотрите большинство тех коммунистов, которые составляли свидетелей обвинения, то вы увидите такую же картину. Большинство коммунистических свидетелей состояло из выходцев партии социал-революционеров, то есть это тот же самый элемент предательства, который в построении скамей подсудимых был введен. И как раз самые серьезные свидетели Ракитин, Кудря, Краковецкий, Алексеев, Алексеева и другие — все это бывшие члены партии социал-революционеров, которые в настоящий момент приняты в коммунистическую партию и которые выступили совместно с обвинением, совместно с этой защитой, совместно с этой скамьей обвиняемых в качестве главных обвинителей партии социал-революционеров»<sup>53</sup>.

А. Р. Гоц, отвечая на вопрос защитника-коммуниста С. В. Членова — считал ли он подсудимого 2-й группы П. Т. Ефимова, с которым до революции сидел в Александровском центре — честным человеком, сказал следующее: «...я должен сказать, что я Ефимова считал честным человеком и очень многих из тех людей, которые сидят там и в частности, и Коноплеву, я тоже считал честным человеком, и вообще, в течение революции очень много пришлось убедиться, что так называемые честные люди или те, которых мы считали честными людьми, оказались впоследствии бесчестными. Мне вспоминается выражение Маркса, когда он писал Энгельсу: „Друг Энгельс, мы слишком часто ошибаемся, как много мошенников принимает участие в революции под видом честных людей“. Что касается Ефимова, то я должен сказать, что и сейчас я не могу назвать его по чести бесчестным человеком. Я думаю, что это человек поскользнувшийся, надломленный, и если угодно знать более полно мою характеристику, то это человек, насколько я себе представляю, с определенно-го момента порвал с революцией, ушел в частную жизнь, и когда он ушел от революции и зажил жизнью обывателя, в этот момент жизнь вновь перед ним повесила жуткий призраок смерти. И в этот момент я должен сказать, что очень многие, гораздо более сильные люди чем Ефимов, не выдерживают такого испытания и очень многие перед лицом смерти

не находят в себе мужества быть до конца честными и верными. И если ему суждено пережить, а я от души желаю ему пережить этот процесс, то я убежден, что суд совести, его собственной совести будет впереди и другого суда лично для него я бы не хотел <...> Я и никогда, как бы я не относился к Семенову, никогда, ни теперь, и никогда не мог бы допустить мысли, что Семенов мог обратиться к Савинкову с просьбой о помиловании, путем честного слова вымаливая себе жизнь. Этому я не поверил бы тогда, но теперь я в это верю, несмотря ни на какие секретные досье, ибо для меня это факт и факт моральный»<sup>54</sup>.

В высшей степени примечательно, что огульного обвинения в предательстве всех обвиняемых 2-й группы также не было. По крайней мере, в своей последней речи Е. А. Иванова-Иранова (которую показания некоторых рядовых боевиков, вошедших во 2-ю группу подсудимых, подвели под смертную казнь), посчитала необходимым объявить, что не считает двоих из них — Ф. Ф. Федорова и Ф. В. Зубкова предателями: «Теперь я хочу сказать несколько слов о тех бывших товарищах, которые сидят с той стороны, которых я знала мало, но все-таки там есть двое, которых я когда-то называла своими товарищами и которые мне были близки и дороги, потому что мы шли за одно дело. И мне больно, что они там, а не здесь с нами. Я говорю о Федорове и Зубкове и я говорю это потому, что я хочу с той страшной тяжести, которая у них останется на всю жизнь, снять хотя немного, снять то, что касается меня. Здесь говорилось и говорилось не раз, что их показания являются самыми тяжелыми для меня. Если об остальных мы можем говорить, что это чекисты, то об них никто никогда не осмелится сказать этого, и этого кома грязи мы в них бросить не можем и предателями их никогда не назовем. Я хочу им сказать в моем последнем слове, что они ничего не сделали для того, чтобы отправить меня на смерть. Что они сделали? Когда их привезли в ЧК, им дали показание Семенова и они под страхом смерти, это, конечно, было малодушие с их стороны, они только подтвердили это показание, они ничего лишнего обо мне не сказали. Я это говорю для того, чтобы они знали, что умирая, я никогда не подумаю плохо об них, не они меня отправили на смерть и в этом нет их вины»<sup>55</sup>.

Оппоненты подсудимых 1-й группы, будучи не в состоянии опровергать их аргументы в системе еще недавно единых ценностей и этических норм, пытались это делать с новых позиций, густо замешанных на «алгебраических формулах», политической целесообразности, верховенства интересов революции над моралью и т. д. Так, защищая Коноплеву от обвинений в предательстве, Г. М. Ратнер договорился до крайне примечательных вещей и обобщений: «Вы поймете, что перед вами действительно человек, который пережил тягчайшую моральную трагедию, который попал за границу и видел, что там делает партия социалистов-революционеров <...> И вот это переполнило последнюю чашу его терпения, и вот явилось это письмо. <...> Для нее дело рисовалось так, что партия, к которой она раньше принадлежала, сейчас находится в стане врагов Советской Республики, борющейся за свое существование. И она решила выдать органам правосудия старых товарищей по партии, хотя и воспринимала это, как тягчайший моральный поступок; как, может быть, моральную смерть, „но революции нет дела до отдельных личностей, и если для революции это нужно — это должно быть сделано“. **Революция может требовать не только жизнь отдельных людей, но и их доброе имя. Товарищи, о применимости такой морали, о ее, если можно так выразиться, общезначимости можно очень много спорить, но никакая жиз-**

неспособная партия на другой морали держаться не может. Там, где идет борьба на жизнь и на смерть, там приходится, вступая в одну из партий, делать из этого все выводы, к какой бы трагической коллизии это в отдельных случаях не привело (выделено нами. — К. М.). Это предательство, провокация, говорят вам с этой скамьи. Что касается слова „провокация“, то позвольте это слово выбросить. Там сидят юристы, которые должны знать, что такое провокация. Провокатор — это человек, который, участвуя в действиях нелегальной организации, одновременно является агентом тайной полиции и действует в интересах этой последней. Могут ли они это доказать? Они, конечно, этого даже не попробуют доказывать. Они бросают это слово — провокатор просто на воздух по принципу, который существовал еще задолго до большевиков, и был формулирован одним почтенным французским парламентарием. Он гласит: „клеветеите, клеветеите, клеветеите, что-нибудь, наверное останется“. <...> А затем, что такое слово „предатель“. Если лицо, которое сообщает сведения, которые оно узнало, будучи членом партии, есть предатель, то совершенно бесспорно, что с этой точки зрения, когда оно показывает следственным органам что-нибудь о деятельности партии социалистов-революционеров, оно является предателем. Но ведь они не об этом говорят. Они хотят заставить вас разделить с ними этическую оценку этих фактов, они хотят сказать: раз предатель, то мы не можем ему верить. <...> Поэтому я, заканчивая перед вами защиту Коноплевой, говорю: перед вами человек, для которого революция стала громаднейшей личной трагедией, который выстрадал отречение от той партии, на которую молился, который перешел в ту партию, против которой боролся и на которую подымал руку. Человек, который считает сейчас своим революционным долгом, как это ему ни тяжело лично, разоблачить своих бывших товарищей по партии, считая, что эти разоблачения, это срывание флёра с партии социалистов-революционеров нужны для дела революции, — человека, который переживает такую драму и по таким мотивам здесь выступает, мне кажется, не осудит Трибунал Советской Республики»<sup>56</sup>.

Защитник Семенова, видный коммунист П. А. Шубин, нашел хитрый полемический прием — разбирая смысл терминов «предатель» и «предательство», он пришел к выводу, что Семенов не предатель, а буржуазия, действительно, предала эсеров, которые верой и правдой им служили. Впрочем, это не единственное, что он сказал, а вся логическая схема Шубина так извилиста, что ее даже трудно пересказать, поэтому позволим себе пространную цитату. Шубин создает облик честного сурового человека, который в своей брошюре без прикрас изложил правду, не занимаясь рисовкой: «...Только однажды он упоминает лично о себе, он говорит о тех последствиях, которые неизбежно несут ему самому его разоблачения, — в предисловии — “я знаю, что они назовут меня предателем“. <...> Они — т. е. буржуазия и ее лакеи — назовут его предателем. Но какое право они имеют это утверждать, спросим мы сейчас по окончании следствия. Семенов думал, что служит революции, когда работал в партии с.-р. Не он партию, а партия его обманула, внушая ему, что она борется за социализм, за освобождение труда. Когда Семенов понял, что он обманут, что, будучи с.-ром, не служил, а предавал революцию, он бежал из партии открыто и столь же открыто стал ее беспощадным врагом. Открытый враг, который не лицемерит, не притворяется, предателем быть не может. Гр. Гоц здесь на маленьком примере показал, в каком смысле можно употребить термин „предательство“, когда он заявил, что Уфимское соевещание, Самарская учредилка погибли, по его буквальному выражению,

из-за предательства буржуазии. И здесь он прав, употребляя термин „предательство“. Когда буржуазия покинула эсеровскую партию после Самары, это было действительно предательством, потому что с.-ры работали на нее и для нее, и цель у буржуазии и у с.-ров была одна, средства также. Воспользовавшись тем, что эсеры проложили ей дорогу, буржуазия отказалась и отреклась от них. Это, действительно, было предательством со стороны буржуазии по отношению к учредителям. Гр. Гоц правильно формулировал это положение, заявив, что „честная“ буржуазия им изменила. Но Семенов, который, став врагом партии, когда он понял, что она — враг революции, заявил ей об этом, а потом и разоблачил, отбрасывает от себя всякие сплетни. Но он правильно оценил тактику социал-согласителей, предугадывая, что они главные удары будут наносить ему, Семенову. Здесь согласителям надо разорвать звено, чтобы отсечь от партии ту часть ее прошлого, в которой она не может и не смеет сознаться. Что при таких условиях значит защищать Семенова? Защищать Семенова — это значит доказать, что все написанное в его брошюре — правда»<sup>57</sup>.

Осмыслив проблему предательства сквозь призму политической целесообразности, Н. И. Бухарин выстроил весьма своеобразную алгебраическую формулу. Обращаясь к эсерам — подсудимым 1-й группы, он говорил: «Вопрос о подсудимых второй группы («раскаившихся» по терминологии советской власти, или «ренегатов», с точки зрения их бывших товарищей по партии. — К. М.) есть вопрос о предательстве предателей. <...> Если эта определенная группа лиц, вышедшая из вашей партии, ваше предательство раскрыла, <...> то это есть их историческая заслуга <...> Нам интересно то, что полезно и правильно с точки зрения международной революции и революционного рабочего класса <...> Моя точка зрения по вопросу о предательстве, моя личная точка зрения заключается в том, что здесь по сути дела никакого вопроса нет»<sup>58</sup>.

Но настоящей программной речью для подсудимых-ренегатов стала речь фактической их лидера Григория Ратнера, специально введенного для этой роли в состав 2-й группы. Фактически он вслед за Бухариным весьма творчески применил диалектику: предать партию, предавшую революцию (которая и есть высшая ценность), не есть предательство, а есть благо и геройская жертва во имя революции. Ратнер восклицал: «<...> Я и мои товарищи, здесь сидящие, мы прямые и открытые враги партии эсеров. <...> Предателем враг быть не может. Предателями могут быть те, которые живут с вами или около вас <...>. А есть ли предательство дать показание и раскрыть действительную позицию и тактику партии эсеров? <...> Если требует революция, то можно свести на эшафот и собственную сестру. Если требует революция, то семейные отношения не существуют. <...> Сейчас болото мещанской психологии завладело настолько умами, что если Ратнер прислал чекистов к своей собственной теще, это ужас и кошмар. Вот в том-то и дело, что от старой морали осталась только форма, великолепная фразеология «Народной воли» хорошо запомнилась членам Центрального Комитета партии эсеров, но содержание этой морали давно уже истлело, истрепалось и не могло не истрепаться, ибо современная политическая борьба эталос старых этических понятий не терпит <...>»<sup>59</sup>.

Ему вторил и подсудимый из группы эсеров-ренегатов И. С. Дашевский: «Поскольку речь идет о нормах революционной этики, эти нормы также не абсолютны и не вне времени, и пространства. <...> И где происходит столкновение революции и реакции, там рушатся прежние нравственные связи, там теряют силу по отношению к этим отошедшим от

революции элементам те нравственные обязательства, которые выросли в условиях солидарной борьбы за общие идеалы революции и социализма в интересах трудящихся, и там вступают в силу новые этические, категорические императивы, во имя революции, во имя социализма, во имя интересов трудящихся, сказать всю правду о тех, кто всякими средствами борется против революции и социализма, кто не останавливается ни перед чем, для того, чтобы их погубить»<sup>60</sup>.

Этой в целом единой позиции, занятой Бухариным, Шубиным, Г. Ратнером и Дашевским лучше всех ответила член ЦК ПСР Е. М. Ратнер в своей последней речи: «Бухарин понимает предательство оригинально. Он говорит, что предательство политическое, а политическое предательство у него понятие очень широкое, есть всякий отказ от программы максимума. Но здесь из политического предательства делается политический и моральный вывод: „если вы политические предатели, то вас, как предателей, морально можно предавать“. Вот эта алгебраическая формула — минус на минус дает плюс — предатель, предающий предателя честен, вот эта формула, моральная формула, критики никакой не выдерживает, потому что политический отказ от максимальных требований, то, что он называет предательством и моральным предательством растления собственной души, эта категория настолько разная и несоизмеримая, как фунт и аршин, и сочетать те и другие это все равно, что вычитать из фунтов аршины, или прибавлять к фунтам аршины. Они друг с другом совершенно не связаны. И это, конечно, политический прием только для того, чтобы чем-нибудь, каким-нибудь политическим вольтом, покрыть то моральное убожество, которое лежит на лице всей социал-демократической коммунистической партии, когда она своим знанием покрыла моральное предательство. Но в этом моральном предательстве есть и своя политическая и историческая сторона, — отдельные лица в таких массовых фактах виноваты не бывают. В них бывает виновато нечто более крупное, нечто более историческое, более серьезное. И здесь мы имеем случай с такими же точно фактами. Пришла революция, громадная грозная, принесла с собой задачи новые. И те задачи, которые выбрала ваша партия коммунистическая, эти задачи оказались объективно невыполнимыми. С какими бы силами не браться за эти невыполнимые задачи, их все равно нельзя было бы выполнить, тем более, если браться за них со слабыми жалкими силами партии, которая так долго была нелегальной, была разбитой. И вот, взвалив на свои плечи эту неисполнимую историческую задачу, вы тем самым взвалили на плечи каждого из ваших работников тоже физически неисполнимую задачу»<sup>61</sup>.

Пятаков попытался остановить Е. М. Ратнер, и вспыхнула перепалка: «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Речь идет не о коммунистической партии, а это ваше последнее слово и я поэтому прошу вас держаться в пределах определенных рамок.

РАТНЕР: Последнее слово подсудимого и отличается тем, что оно дает ему право и моральных суждений.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я вас не прерываю, когда вы говорите, о чем вы хотите.

РАТНЕР: Об этом-то я и хочу говорить.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Но не о коммунистической партии и о советской власти. Я вам делаю второе предупреждение.

РАТНЕР: Я говорю сейчас об отдельных членах коммунистической партии, которые здесь определенным образом предъявляли нам целый

ряд определенных обвинений, о тех членах коммунистической партии, на основании оговоров которых и поднялся весь этот процесс. И если в последнем слове нельзя касаться и этого положения...

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:** Это я говорю только о партии, как о таковой; этого же можно касаться»<sup>62</sup>.

Е. М. Ратнер, иллюстрируя своей тезис о том, что коммунистическая партия оказалась в тупике, ссылкой на рассказ писателя-коммуниста Аросева, завершила свое выступление очень серьезным выводом: «Он говорит о страде, которую коммунистическая партия наложила на своих членов. Надрываясь изо всех сил, не те 400 тысяч коммунистов, которые рассеяны по России, а лучшие из лучших, святые по своей внутренней сущности, герои этого рассказа вкладывают в свою теперешнюю работу то, что они понимают под строительством новой России, все свои силы, сок своих нервов, каждую клетку своей крови, все, что могут, но у них ничего не выходит, и сжавши руки, они говорят, что нужно что-то сделать с собой, потому что о том, что задача неверна, что задания часового механизма неправильны, такой еретической мысли нет у них. Но мысль их работала лихорадочно в этом направлении и они вернутся, говоря, что надо с собой что-то сделать, надо, как они говорят, переломиться, вытравить старое, и вложить что-то новое, что может справиться, и они ищут пути, каждый по-своему. Одни, как Деревцев, перебрав все пути работы, и видя, что страна не откликается, что деревня темна и чужда, что рабочие проклинают, стоят перед неразрешимой задачей и говорят: „Да, дело святое, но то, что мы практически делаем это не то“ и начинают искать выхода, испуганные предстоящим „завтра“, думая — “а что будет завтра — завтра неизвестное“ эта неизвестность есть то, что говорил Бухарин: „а может быть, Ключников победит, что же тогда“. Тогда все зря, все силы, которые потрачены, вся внутренняя мораль, которая ухлопана на это дело, все это зря, это сделано в пустую. В своем последнем слове я заявляю, что до тех пор, пока вы будете заниматься не только политическим экспериментаторством, но и моральным экспериментаторством, до тех пор никакого права на название партии не только социалистической, но честной партии у вас не будет»<sup>63</sup>.

Подводя итог, следует отметить, что в ходе этой дискуссии на процессе ее участники заговорили на совершенно разных языках, отражавших уже два разных мироощущения, две позиции. Одна, традиционная, целиком основывалась на предшествующем опыте и этике революционного движения, другая — хотя и использовала активно терминологию своих оппонентов, но уже исходила из «политической целесообразности», являясь сама продуктом «морального экспериментаторства». Нельзя не отметить, что «моральное экспериментаторство» в речи Г. М. Ратнера представлено максимально выпукло. Чего стоит только одна его формулировка «наши бывшие товарищи по общему предательству революционного дела в 1918 г.»!

Но главное в речах всех выступавших коммунистов и эсеров-ренегатов — это, конечно, отказ от старой морали, причем, не только той, которой придерживались революционеры, но в данном случае и от «общечеловеческой», которая огульно называется мещанской, и пафосный призыв идти другим путем, к совершенно новой морали, позволяющей «свести на эшафот и собственную сестру» и чекистов привести к теще.

В последующие полтора десятилетия физическое уничтожение оппозиционно настроенных социалистов и анархистов, являвшихся до конца 30-х гг. живыми носителями и хранителями революционной субкультуры,

привело к ее исчезновению в СССР (российская социалистическая эмиграция сохраняла ее огонек до 50-х—60-х гг. XX в.); результатом же «морального экспериментаторства» коммунистов стала стремительная мутация традиционных норм субкультуры российского революционера и выработка ими собственной субкультуры, с совершенно иными понятиями предательства.

**§ 2. «СОСТОЯНИЕ УСТАЛОСТИ И АПАТИИ НЕ ПОЗВОЛЯЛО ПЕРЕДОВОМУ КРЕСТЬЯНСТВУ ПРЕДВИДЕТЬ, ЧТО НУЖНО ЕГО АКТИВНОЕ И ДЕЯТЕЛЬНОЕ УЧАСТИЕ В СОЗДАНИИ НОВОЙ ЖИЗНИ, В ОТСТАИВАНИИ ЕГО ВЛАСТИ...»: ПОЛЕМИКА О ХАРАКТЕРЕ, ПРАКТИКЕ И ПРИЧИНАХ ГИБЕЛИ САМАРСКОГО КОМУЧА**

Слова, вынесенные в название параграфа, были сказаны М. Я. Гендельманом, отвечавшим на вопрос Г. Л. Пятакова о причинах гибели Комуча, заданный с издевкой — мол, если у эсеровского самарского правительства были такие хорошие отношения с трудящимися массами, то почему мы вас так легко разогнали?

Из почти двух десятков сюжетов из истории гражданской войны, полемика вокруг которых разгорелась на суде, мы остановились именно на спорах о характере, практике и причинах гибели Самарского Комуча вовсе не случайно. Уже сама логика противостояния на процессе двух партий — коммунистической, судящей, и эсеровской, судимой, не могла не сделать красной нитью всего процесса постоянное, прямое или косвенное, сравнение этих двух партий. Это сравнение превращалась в острейшую политическую полемику по вопросам о том, кто повинен в развязывании и эскалации гражданской войны, какая из противостоящих друг другу партий есть предатель революции и родины, а кто ее верный сын, и по ряду других. Каждая из этих локальных схваток для нас крайне интересна и важна, т. к. позволяет увидеть сильные и слабые стороны в позициях противников, их логику, их аргументы и, что не менее важно, множество фактов, выпавших из советской версии гражданской войны.

Во избежание недоразумений отметим, что хотя на процессе говорили об «эсеровских правительствах» во множественном числе, имея в виду еще и Архангельское правительство, также возникшее в 1918 г., как нам представляется, эсеровским режимом можно считать только Самарский Комуч. В архангельском правительстве, возглавлявшемся народным социалистом Н. В. Чайковским, эсеры хотя и играли важную роль и повлияли на характер и мероприятия власти, но правительство это, во-первых, не было по составу однородно эсеровским (в составе правительства Комуча среди многочисленных его членов был только один не-эсер — меньшевик И. М. Майский). Во-вторых, и это главное соображение, действия эсеров, вошедших в его состав, не получили одобрения партийного руководства и последующих партийных форумов, а в некоторых частях были осуждены. Сами эсеры никогда не называли архангельское правительство эсеровским (в отличие от Комуча). Причисление коалиционного архангельского правительства к эсеровским режимам было выгодно коммунистам, т. к. именно на архангельском материале было сподручней всего обвинять эсеров в прислужничестве

антантовским интервентам и реставрации буржуазных порядков, а существенное участие эсеров в правительстве давало коммунистам некоторые основания для подобной манипуляции.

Полемика вокруг Комуча интересна прежде всего тем, что речь в ней шла о вполне конкретных вещах — практической деятельности правительства, созданного эсерами в Самаре в июне 1918 г. В этом споре у обеих противостоявших — теперь уже в зале суда партий — появлялась возможность использовать старую мудрость: «суди не по словам их, а по делам их». Но большевики не могли позволить себе честной дуэли по ряду проигрышных для себя тем, т. к. полемика сплошь и рядом логично выходила на сравнительный анализ двух режимов — эсеровского и коммунистического. И поэтому большевики установили особые правила как полемики, так и рассмотрения всей этой темы в целом. Во-первых, пресекались попытки эсеров рассказывать о социальной и экономической политике эсеровского правительства (словами — «вас в этом не обвиняют»), а сами стремились говорить только о темах, выгодных себе — помощь иностранцев, репрессии по отношению к коммунистам и т. д. и т. п. Во-вторых, эсеры все время обрывали, когда они начинали сравнивать деятельность самарского правительства с большевистским режимом и его практикой (словами — судят не РКП, а ПСР).

Свидетельством того, что власти весьма серьезно относились к теме Комуча, может служить и то, что его материалы, попавшие в руки чекистов, прорабатывал с синим карандашом в руках Ф. Э. Дзержинский. И хотя он не ставил автографа на этих документах, об этом можно говорить вполне уверенно после сравнения этих помет с его резолюциями на ряде документов в других томах фонда Н-1789<sup>64</sup>.

Пометы Дзержинского есть только на части эсеровских документов, сведенных в единую папку — «Материалы к истории Комитета Членов Учредительного собрания (собрание бумаг Упр. Дел. Комитета Я. Дворжец). Папка протоколов заседаний Комитета членов Учредительного собрания в Самаре и др. бумаг, относящихся к эпохе Самарского Комитета Ч.У.С.», хранящуюся вместе с материалами Иркутского губернского Управления охраны о деятельности ПСР и Делом Временного Всероссийского правительства в т. 40 фонда Н-1789.

Среди документов самого различного характера выделяется «Журнал заседаний Членов Всероссийского Учредительного собрания», который является уникальным и универсальным источником для исследования истории Комуча.

Первое, что бросается в глаза, это то, что среди множества ценнейших документов, освещавших самые различные аспекты государственной, социально-экономической, национальной политики Комуча, карандаш Дзержинского выбрал совсем немного — то, что работало на очернение и обвинение эсеров. Так, уже на втором листе Журнала внимание Дзержинского привлек протокол № 3 заседания Комитета Всероссийского Учредительного собрания от 14 июня 1918 г., на котором было решено: «В спешном порядке заказать три красных знамени Учредительного собрания с надписью: „Власть народу — Власть Учредительному собранию“ для вручения нашим и казачьим войскам <...> Поручить члену Комитета В. К. Вольскому созвать совещание из представителей рабочих и предпринимателей с участием представителей соответствующих органов самоуправления по вопросу о восстановлении прав владельцев»<sup>65</sup>.

Синим карандашом, оставившим толстый след, Дзержинский подчеркнул слова «предпринимателей» и «о восстановлении прав владельцев»<sup>66</sup>.

16 июля 1918 г. правительством Комуча было принято два решения, обративших на себя внимание Дзержинского. Первое касалось создания полиции, называлось «Об организации Штабов Охраны» и гласило: «В основу проекта организации должно быть положено следующее: Штаб Охраны как аппарат, ведающий полицейско-охранными функциями, должен быть создан при каждом губернском и уездном уполномоченном Комитета, работа его должна протекать под непосредственным наблюдением уполномоченного. При штабе охраны иметь небольшие вооруженные части»<sup>67</sup>. Второе решение было принято по докладу Управляющего ведомством земледелия: «а) Весь живой и мертвый инвентарь, как захваченный, так и не захваченный у частных владельцев, подлежит точному учету. Распродажа, передача и уничтожение его, впредь до разрешения этого вопроса Учредительным собранием, воспрещается под строгой ответственностью. б) Право снятия озимых посевов, произведенных в 1917 на 1918 г. в нетрудовых хозяйствах, принадлежит каждому отдельному нетрудовому посевику, но под контролем и при содействии уездного Земельного комитета. в) Весь племенной скот должен подлежать строгому учету. Земельным комитетам принять соответствующие меры, а также меры и к его сохранению. Принятые положения принять за основу приказа, текст которого разработать ведомству земледелия»<sup>68</sup>. Обращает на себя внимание, что пункт о создании штабов Охраны был выделен карандашом Дзержинского сбоку абзаца, со слов — «охранно-полицейскими функциями», которые к тому же были и подчеркнуты; в решении по докладу, касающемся сельского хозяйства, Дзержинский выделил только два абзаца, под буквами а) и б)<sup>69</sup>. Он не стал подчеркивать меры, связанные с учетом и сохранением, как не подлежащие инкриминированию, а следовательно и не интересные для него.

Свою (и всех подсудимых 1-й группы) главную задачу в борьбе с комплексом фальсификаций и искажений, который был создан обвинителем и председателем суда при опросе свидетелей обвинения, подыгрывающих им, Д. Ф. Раков определил так: «Я даю свои разъяснения вовсе не для того, чтобы обелить деятельность свою и своих товарищей на территории Комитета членов Учредительного собрания, вовсе не для того, чтобы смягчить ту ответственность, которую несем мы за эту деятельность, — я даю свои показания исключительно с целью установить истину, даю показания с целью, чтобы представить Трибуналу действительность так, как она была на самом деле, а не так, как ее хочет изобразить гражданин обвинитель»<sup>70</sup>.

Полемика вокруг обстоятельств создания, характера и практики Комуча на процессе развернулась 22 июня 1922 г., когда суд приступил к допросу свидетелей обвинения и защиты, которые осветили период Самарского Комуча, — управляющего делами Комуча Я. С. Дворжеца (свидетеля обвинения), председателя Совета Управляющих ведомств Комуча и Экономического Совета В. Н. Филипповского (свидетеля защиты), члена ведомства труда, бывшего меньшевика, затем коммуниста И. М. Майского (свидетеля обвинения).

Что, собственно говоря, интересовало суд и обвинение? Это видно из вопросов, которые Крыленко задавал свидетелям. Так, Я. Дворжеца, который летом 1918 г. был управделами Комуча, а позже вступил в РКП(б), Крыленко сразу спросил: «Скажите, товарищ, ...как, каким образом произошел захват Самары, как была свергнута в Самаре Советская власть, какими силами, или соединением каких сил, затем какая власть была установлена и, наконец, последний вопрос — вновь установившаяся власть на какие силы опиралась, то есть фактически в чьих реально руках находилась власть»<sup>71</sup>. В. Н. Филипповскому Крыленко задал подобные же

вопросы: «Скажите, что Вам известно о вооруженном восстании в Самаре 1918 года для свержения Советской власти, как это произошло. И о переходе власти к новому органу и к какому именно, и какая реальная власть существовала на территории восстания?»<sup>72</sup>.

И. М. Майскому Крыленко сформулировал вопросы следующим образом: «Нас не интересуют общие вопросы общей политики Самарского Комитета членов Учредительного собрания, а интересуют следующие вопросы: деятельность Комитета членов Учредительного собрания и организаций, непосредственно из него вышедших, как Совет Уполномоченных или как он назывался Съезд членов Учредительного собрания; затем, что делалось в отношении применения репрессий к трудящимся массам, применение репрессий к представителям и защитникам идеи Советской власти; затем взаимоотношения гражданской и военной власти. Сама природа власти, социальная природа власти и взаимоотношения различных социальных групп этой власти. И последний вопрос, если Вы можете ответить, вы член Правительства, как будто бы»<sup>73</sup>.

После того, как Майский кратко на последний вопрос ответил — «да», впервые с момента начала опроса свидетелей председатель суда также решил принять участие в формулировании «установочных» вопросов. Пятакова интересовало: «У кого в руках была реальная власть, так как там были разнообразные борющиеся группы, в частности Комуч и прочее и прочее, была ли у кого-нибудь реальная власть в руках из членов Учредительного собрания и в какой мере и в какой степени?»<sup>74</sup>

Крайне интересные ответы Майского и дискуссия, разгоревшаяся вокруг социальной природы власти Комуча и конструкции его власти. По словам Майского, «формальная конструкция власти» Комуча была следующая: «Комуч представлял из себя полномочный орган власти — нечто, вроде Парламента. Первоначально он состоял из 5-ти человек, постепенно число членов его увеличилось и в конце концов к сентябрю месяцу дошло приблизительно до 100 членов. Когда Комуч был немногочислен, он соединял в себе как законодательные, так и исполнительные функции. Но в дальнейшем число членов его увеличилось, и из состава Комитета был выделен особый Совет управляющих ведомствами, игравший роль кабинета министров. Это выделение произошло в середине августа 18 года, то есть приблизительно через два месяца после возникновения самого Комитета. Совет управляющих ведомствами был ответственен перед Комитетом, но в области управления, в области административной он пользовался весьма широкими полномочиями, тем более, что в состав Совета управляющих ведомствами входил также Президиум самого Комитета членов Учредительного собрания»<sup>75</sup>.

Подоплека вопросов Крыленко и Пятакова, как и их цель, была достаточно прозрачной — объявить Комуч марионеткой в руках иностранных держав, чехов, реакционных российских кругов, пользовавшихся эсеровским правительством как ширмой для проведения своих планов и политики. Помимо этой цели была и другая — в очередной раз объявить о том, что умеренные социалисты — эсеры и меньшевики, несмотря на свою социалистическую фразеологию и свою субъективную веру в приверженность к социалистическим ценностям, просто обречены, в отличие от решительных и бескомпромиссных коммунистов, становиться марионетками в чужих — реакционных или иностранных — руках.

Майский, к этому моменту уже пришедший к коммунистам, всячески поддерживал эту версию, как в своей книге «Демократическая контрреволюция», так и в своих показаниях на процессе, когда он характери-

звал «внутреннюю сущность этой власти» следующим образом: «В Самаре было по существу две власти. Одна формальная, находившаяся в руках Комитета членов Учредительного собрания, и другая реальная, которая находилась в руках военных сил. <...> Комитет членов Учредительного собрания опирался на военные силы троякого рода. Это, во-первых, были чешские легионы, во-вторых, добровольческие русские отряды, состоявшие главным образом из офицеров и интеллигентской молодежи и, в-третьих, это было мобилизованное крестьянство. Эти три рода военных сил были неоднородны, как в смысле своей боеспособности военной, так и в смысле своего политического содержания. Мобилизованное крестьянство сражаться не хотело, оно разбегалось при первой возможности»<sup>76</sup>. По словам Майского, добровольческие отряды были «достаточно правового уклона», они «больше занимались фрондированием против Комитета членов Учредительного собрания, который они считали для себя слишком левым и который называли полубольшевистским, чем выполнением своих непосредственных задач»<sup>77</sup>. Типичным представителем этих сил он называл полковника Галкина, скрывавшего свои монархические убеждения, но отзывавшегося о Комуче пренебрежительно и «дававшего понять», что «здесь сидят только болтуны, что настоящее дело делается у него в штабе и в тех рядах, которыми он руководит, а что Комитет членов Учредительного собрания — это некоторое прикрытие, которое до поры до времени нужно терпеть, но которое не представляет из себя ничего жизненного, ничего необходимого»<sup>78</sup>. Третьей силой, по словам Майского, «настоящей военной опоры Комитета, были именно чешские легионы»<sup>79</sup>.

Вывод Майского вполне укладывался в концепцию обвинительного заключения и того, что от него хотели услышать Крыленко и Пятаков: «При таких условиях совершенно ясно, что Комитет членов Учредительного собрания в сущности является лишь демократической этикеткой той военной силы, которая в то время господствовала и вершила всеми судьбами на территории Учредительного собрания, потому что Комитет членов Учредительного собрания на особые широкие симпатии со стороны масс не мог рассчитывать и этими симпатиями похвалиться не мог»<sup>80</sup>. По словам Майского, настроение рабочих Самары не было сочувственным Комучу, а Самарский Совет рабочих депутатов, который Майский характеризовал как «орган общественного мнения пролетариата», вопреки воле верховодивших в Совете меньшевиков принял 30 августа 1918 г. резолюцию, требовавшую сохранения всех законов Совнаркома. Немного лучше обстояли дела и в отношениях с крестьянством, которое в сентябре 1918 г. на проходившем в Самаре губернском крестьянском съезде выявило свое столь отрицательное отношение к Комучу, что только благодаря приехавшему на съезд В. М. Чернову удалось провести резолюцию поддержки Учредительного собрания. Майский указывал, что о том, что настроение различных классов и групп было не особенно сочувственным Комучу, свидетельствовали результаты выборов в городские думы, проходившие в августе и сентябре 1918 г. на территории Комитета членов Учредительного собрания. Из всего этого Майский делал вывод, что у Комуча не было никакой серьезной общественной поддержки и опоры, что привело к тому, что военные вышли из-под контроля и фактически диктовали правительству свою политику»<sup>81</sup>.

Другой свидетель обвинения, бывший эсер Дворжец, был в 1918 г. управляющим делами Самарского Комуча и потому со знанием дела отвечал на вопросы Пятакова, Крыленко и Покровского, вкладывавших «персты в раны» Комуча. На самый первый вопрос, который был задан

Пятаковым (у кого в руках находилась фактическая власть после конституирования власти в Самаре), Дворжец ответил, что правительство фактически не контролировало военных, несмотря на посылку в штаб Народной армии двух своих представителей (В. И. Лебедева и Б. К. Фортунатова), которые в конечном счете соглашались с точкой зрения Галкина, возглавлявшего его. Как утверждал Дворжец, это привело к тому, что было несколько случаев, когда монархически настроенное командование отдельных отрядов и частей Народной армии не только не выполняло указаний правительства, но и действовало строго вопреки им, приводя в качестве примера случай расстрела комендантом Бузулука представителя городского комитета ПСР доктора Гровиц<sup>82</sup>.

На вопрос Крыленко, когда и как образовались правительственные структуры, Дворжец показал, что, собственно говоря, Комитет членов Учредительного собрания образовался еще в подполье, приблизительно за неделю до вступления чехословаков в Самару, подготовив сразу ряд приказов и первых мероприятий власти, которые сразу же стали воплощаться в жизнь после прихода к власти. Совет управляющих ведомствами фактически являлся аналогом Совета министров, и в его в состав входили все управляющие ведомствами (аналог министров) и несколько представителей Комитета членов Учредительного собрания, но «без портфелей». Отвечая на вопрос Крыленко о руководителе этого органа, его эволюции и о его судьбе, Дворжец показал, что председателем Комитета членов Учредительного собрания являлся В. К. Вольский, а председателем Совета управляющих ведомств Комуча и Экономического Совета — В. Н. Филипповский и что Совет управляющих ведомствами Комуча продолжал существовать и после создания Уфимской Директории, управляя европейской частью территорий этого нового государственного образования, и прекратил свое существование только 3 декабря 1918 г., когда его члены были арестованы в Уфе военным отрядом, присланным адмиралом Колчаком<sup>83</sup>.

На вопрос Крыленко об удельном весе в Народной армии чехословаков, добровольцев и чисто эсеровских военных элементов Дворжец показал, что Народная армия была весьма неоднородна, имея в своем составе части добровольцев, как он выразился, первоначального формирования, созданные в первые три недели после прихода эсеров к власти и состоявшие в основном из самарской интеллигенции и офицеров. По его словам, эти части отличались большой боеспособностью, в отличие от частей, созданных после начала мобилизации некоторых сроков в Народную армию, в которых сразу же возникли пробольшевистские настроения, в ряде случаев переросшие в открытые восстания против Комуча или в переход на другую сторону фронта целыми частями. Также по инициативе чехословаков и при поддержке Комуча стали формироваться смешанные полки из русских и чехов, в которых русских добровольцев возглавляли чехословаки (как известно, среди них было очень много социалистов), что, с одной стороны, вполне устраивало эсеровское правительство, а с другой — встретило саботаж со стороны генералов и офицеров штаба Народной армии, в массе своей придерживавшихся более правых взглядов. Интересен вывод Дворжеца, считавшего, что если бы не саботаж штаба и не прекращение формирования этих частей, эти смешанные части были бы самыми боеспособными в Народной армии<sup>84</sup>.

Покровского интересовала та роль, которую сыграли рабочие в момент возникновения эсеровского правительства и какую помощь они ему оказывали<sup>85</sup>. Дворжец сказал, что до вступления в Самару чехословаков рабочие Самары и Ивашенково (ныне Чапаевск), самых крупных промыш-

шленных центров губернии, стремились к свержению большевиков и поддерживали партийные эсеровские комитеты, желавшие того же самого. Но сразу же после падения Советской власти на проходившей в Самаре беспартийной рабочей конференции большинство захватили большевики под маркой «беспартийных левых», и только меньшевики удержали рабочих от резолюций прямого протеста и осуждения действий Комуча (впоследствии эти настроения были весьма распространены, по словам Дворжеца, среди рабочих самого крупного самарского Трубочного завода и рабочих Иващенко)<sup>86</sup>.

Следующий вопрос М. Н. Покровского касался уже того, оказывало ли крестьянство поддержку эсерам в момент свержения большевиков, на что Дворжец ответил утвердительно, отметив, что крестьянство слало своих ходяков в партийные эсеровские комитеты, объявляя ПСР спасителем от большевистского гнета и обещая всяческую поддержку и помощь в свержении большевистской Советской власти. Но после свержения большевиков и особенно после объявления мобилизации в Народную армию, по словам Дворжеца, началось противодействие со стороны крестьянства<sup>87</sup>.

На вопрос Покровского об отношении буржуазии к Комучу Дворжец ответил, что та в лице кадетов поддерживала его по известному принципу «постольку-постольку»: с одной стороны, буржуазия вошла, как он выразился, в организацию финансового характера при правительстве, и был создан финансовый Совет из представителей самарской буржуазии, поддерживавшей Комуч деньгами, т. к. в банке после правления большевиков наличности не было совсем; с другой же стороны, кадеты в своей прессе вели упорную борьбу с эсеровским правительством, не останавливаясь даже перед личными выпадами в адрес отдельных руководителей Комуча, и на заседании правительства даже ставился вопрос о закрытии кадетского партийного органа в Самаре, но большинство посчитало подобное недопустимым<sup>88</sup>.

Очень заинтересовал Покровского вопрос о попытке восстановления Комучем, как он выразился, чего-то подобного старой винной монополии, на что Дворжец ответил, что власть испытывала очень серьезные затруднения с наличными деньгами (не решаясь чеканить монеты из того запаса серебра, который не успели вывезти большевики при эвакуации из Самары в июне 1918 г., т. к. справедливо полагала, что население немедленно спрячет серебряные монеты в чулки) и одной из мер по стабилизации финансовой ситуации было разрешение свободной продажи водки<sup>89</sup>. То, что Дворжец явно лукавил, говоря о введении вольной продажи водки, видно из постановления Комуча. Любопытно, что на заседании правительства Комуча 11 июля 1918 г. рассматривалось несколько очень разных, но до сих пор весьма актуальных вопросов — о продаже водки (вместо сухого закона), борьбе с тайным винокурением (самогонварением), обложении акцизным сбором пива и прохладительных напитков, проблемах разграничения законодательных и исполнительных функций власти. Заседание проходило под председательством В. К. Вольского и в присутствии И. М. Брушвита, В. Абрамова, П. Д. Климушкина, Богослова, Шмелева, А. С. Былинкина и Фортунатова, и было решено: «1) Распродажа водки, как мера, направленная к получению денежных знаков принимается (подчеркнуто синим карандашом. — К. М.). Распродажа водки должна совершаться на основании следующих положений. 1) Первая партия спирта, подлежащего переработке, не должна превышать количества, действительно потребного для месячной нормы продажи. 2) Крепость водки устанавливается в 38°. 3) Водка продается гражданам обою

пола, достигшим 20-летнего возраста по карточной системе. 4) Месячная порция  $\frac{1}{2}$  бутылки на человека. 5) Цена бутылки 15 рублей без посуды. 6) Допустить распродажу водки и в деревню (подчеркнуто синим карандашом. — К. М.). Конкретную разработку вопроса о распределении водки в деревне передать Акцизному ведомству. в) Усилить борьбу с тайным винокурением. Меры преследования разработать Юридической комиссии (подчеркнуто синим карандашом. — К. М.). 2) Обложение акцизным сбором пива признать допустимым. Акцизному ведомству разработать соответствующий проект и представить таковой незамедлительно в Комитет Членов Всероссийского Учредительного собрания. 3) В настоящее время по многим причинам разграничение функций законодательных и исполнительных невозможно. Временно как те, так и другие функции сосредотачиваются в Комитете Членов Всероссийского Учредительного Собрания. Примечание. „Положение о Комитете членов Всероссийского Учредительного Собрания“ принято с незначительными изменениями. 4) Председателем Комитета избирается Владимир Казимирович Вольский (7 записок). Заместителем председателя избирается Иван Михайлович Брушвит (6 записок)<sup>90</sup>.

Ответы Дворжца и Майского немедленно стали объектом споров противостоящих сторон. Весьма показательно, как по-разному хотели допрашивать единственного свидетеля защиты по этому вопросу, эсера Филипповского, сами эсеры и Крыленко с Пятаковым. Вызвав его как свидетеля, подсудимые 1-й группы устами Гендельмана наметили круг вопросов, по которым он в состоянии свидетельствовать: «Свидетель был управляющим ведомством, одним из заведующих, потом был председателем Совета управляющих ведомств и таким образом может охарактеризовать всю работу Комитета членов Учредительного собрания за время его пребывания в Самаре до конца, до того, как Совет упр. ведомств, в том числе и товарищ, был арестован отрядом Колчака и доставлен в Омск. Кроме того свидетель был председателем Экономического совещания и может установить экономическое положение края за время Комитета членов Учредительного собрания. <...> Имела ли место репрессивная политика Комитета членов Учредительного собрания в отношении к трудящимся массам, каково отношение к заключенным в тюрьме, какие меры принимались для устранения произвола военных властей, можно установить, насколько изменилось экономическое положение трудящихся масс крестьянства и рабочих после смены Советской власти властью членов Комитета Учредительного собрания. Свидетель может установить, какие меры принимал Комитет членов Учредительного собрания для экономического развития края и как это отразилось на положении трудящихся масс»<sup>91</sup>.

Но очерченный подсудимыми 1-й группы круг вопросов был куда шире, чем этого хотели Крыленко и Пятаков. Крыленко заявлял: «Из той категории вопросов, которые были здесь указаны обвиняемым Гендельманом, первая категория вопросов, которые дебатировались вчера, отношение к делу имеют и по этим вопросам допрос даже необходим. Что касается ряда других вопросов, я считаю, что они не могут быть поставлены постольку, поскольку здесь говорится, что здесь не историческая исследовательская комиссия, а вопрос идет о конкретных фактах, которые вменяются в вину. Если были такие факты, которые способствовали укреплению края, таковые бы не вменялись в вину»<sup>92</sup>.

Пятаков его поддержал: «По отношению общей политики допроса ведь не требуется. Это освещено документами, приложенными к делу, и свидетель не нужен. А в отношении тех вопросов, которые поставил

обвиняемый Гендельман, относительно репрессии, содержания заключенных, мер по ограждению злоупотреблений военных властей, в этой области вести допрос можно»<sup>93</sup>.

Игра обеих сторон была предельно ясной. Власть в лице обвинения и суда была заинтересована не затрагивать то хорошее, полезное и интересное, что было сделано эсерами в сфере социально-экономических отношений и что выглядело резким диссонансом к проводимому большевиками военному коммунизму. Кроме того, как небезосновательно позже указывал Д. Ф. Раков, в экономике Комуч проводил политику, весьма схожую с нэпом, что рождало аналогии и мысли, весьма неприятные для коммунистов. Суд был готов касаться вопросов социально-экономической политики Комуча, но акцентировал свое внимание не на успехах, а на неудачах, конфликтах и скандалах. Совершенно очевидно, что задачей обвинения и суда была не реконструкция реалий (очень показательна процитированная реплика Крыленко об «исторической исследовательской комиссии»), а выявление и выпячивание неудач и ошибок.

Совершенно очевидно также, что прекрасно все это понимавшие эсеры пытались не допустить этого, а напротив, старались всячески подчеркнуть успехи Комуча в деле политических свобод и социально-экономического развития. Поэтому неудивительно, что Филипповский, проигнорировав указания Крыленко и Пятакова, все равно начал с социально-экономической ситуации и мероприятий Комуча в этом направлении и был быстро прерван Пятаковым, воскликнувшим: «...Вы ведь слышали, что вопрос идет о репрессиях для заключенных, о борьбе с злоупотреблением военных властей и взаимоотношениях гражданской власти и военной власти. <...> А Вы начинаете с экономической географии, с деятельности ведомства торговли и промышленности и так далее». Филипповский попробовал возразить, что ему кажется, что «ведомство Торговли и Промышленности как раз то ведомство, в котором заинтересован труд», но Пятаков решительно прервал его: «Сейчас дело идет не о том, в чем заинтересован труд, а речь идет о репрессиях, о заключенных, о взаимоотношениях с военными властями и о борьбе с злоупотреблениями военных властей. Об этом, пожалуйста, и говорите»<sup>94</sup>.

Получилось так, что председатель суда и обвинитель не задали ни одного вопроса Филипповскому, которые касались бы его сферы ответственности в Комуче, хотя всячески поощряли свидетелей обвинения к освещению и этих тем, но в нужном обвинению свете. Вот то немногое, что успел сказать об экономической политике Комуча Филипповский, пока его не прервал Пятаков: «Эсеровская власть в Самаре после того, когда было свержение Советской власти, получила такое же наследие, как было везде — в смысле экономическом и социальном. С первых шагов наша власть решила оставить все так, как было, то есть заводы, которые были национализированы, были оставлены национализированными. В этом отношении мы старались, чтобы та политика, которую мы должны были вести, чтобы она не явилась с места в карьер коренной ломкой и окончательно не разрушила бы народного хозяйства в тех пределах, в которых она находилась у нас в руках. Как вы знаете, промышленность этого края невелика, и заводов не так много. Поэтому в этом отношении ведомство Торговли и Промышленности не являлось боевым ведомством среди других ведомств»<sup>95</sup>.

Крайне интересен следующий эпизод времен противостояния Комуча и Совнаркома, о котором поведали Раков и Филипповский. Интересен, прежде всего, тем, что эсеры вновь демонстрировали, что в политике

и в борьбе с большевиками, даже если речь шла о собственном выживании, для них были хороши не все средства и лозунг «чем хуже, тем лучше» вовсе не был их лозунгом ни в 1917 г., ни в 1918 г. Во время опроса свидетеля защиты Филипповского Раков обратился к нему с вопросом: «Вот вы ведали ведомством торговли и промышленности и, вероятно, помните такой факт: когда была взята Самара и отрезана территория, то на этой территории оказались рабочие организации Петрограда и даже Москвы, которые приехали сюда за хлебом и что в Самаре были суда за этим хлебом. Как поступил Комитет членов Учредительного собрания с этими организациями и с самим хлебом?». Филипповский ответил: «Я не помню всю формальную сторону, но он обратился к коммунистической власти с предложением этот хлеб переправить туда и насколько я помню, был факт, когда вообще был поднят вопрос относительно снабжения хлебом той территории России, которая была под властью Советов и в которой наблюдался голод. Мы хотели со своей стороны ввиду того, что у нас был излишек хлеба, переправлять его туда и ставили условием, чтобы его распределяла не власть, а та или другая экономическая или классовая организация, в лице кооперативов и персональных организаций. Этот вопрос стоял перед нами, и мы этот вопрос проводили, так как считали, что борьба не должна идти в тех формах, которые являются формой умора голодом трудового населения»<sup>96</sup>.

Но все же подсудимые 1-й группы, которые хотели осветить социально-экономические реалии и деятельность своего правительства как можно подробнее, нашли выход из положения. Получив право задавать свидетелю вопросы, Раков и Гендельман затронули и их (другая часть вопросов затрагивала свободу слова, положение заключенных, роль Майского в качестве министра труда и т. д.), фактически дезавуируя все то, что говорил Дворжец и особенно Майский, дезавуируя обвинение в целом. В силу этого, диалог Ракова (задававшего вопросы) и Филипповского (отвечавшего на них и боявшегося давать развернутые ответы, так как его бы просто остановил Пятаков) временами выглядел весьма своеобразно. Учитывая ценность и уникальность диалога министра финансов и министра Торговли и промышленности эсеровского правительства, в который время от времени «встревал» Пятаков, процитируем все его фрагменты, относящиеся к этой сфере (следует иметь в виду, что перед эсерами стояла задача опровергнуть основной тезис обвинения, что они были марионетками в руках буржуазных и монархических сил): «Раков. <...> Оказывала ли буржуазия денежный кредит в той или иной форме Комучу.

Филипповский. Нет, этого никогда не было.

Раков. Откуда получал средства Комуч?

Филипповский. Средства Комуч получал от налогов, денег мы до известной поры не выпускали, а в самом конце выпустили. Затем был целый ряд налогов, обложений.

Раков. И из государственного казначейства?

Филипповский. Да, и то, что получалось с боя, например, при взятии Казани.

Председатель. Значит налоги, и что вы еще сказали?

Филипповский. С бою. Например, в Казани.

Председатель. Трофеи, так сказать.

Филипповский. Да.

Раков. Вы одно время близко стояли к финансовому ведомству. Что это за орган был Финансовый Совет? Был ли это орган решающий или совещательный и с какой целью он был учрежден?

Филипповский. Этот орган был учрежден с целью разработки финансовых мероприятий.

Раков. Из кого он состоял?

Филипповский. Там были представители, я точно не могу перечислить всех категорий, которые там были, но насколько помню были представители и классовые.

Председатель. Де-Вакано Вам известен?

Филипповский. Де-Вакано — фамилию я не помню, может он и был.

Раков. Значит, это был орган совещательный?

Филипповский. Совещательный.

Раков. Мог ли этот Финансовый совет оказывать какие-нибудь кредиты, финансировать Комитет Учредительного собрания.

Филипповский. Конечно, нет.

Раков. Были ли в этом финансовом совете представители банковского дела, были ли представители кооперации, представители органов самоуправления, представители крестьянских и рабочих организаций.

Филипповский. Были.

Раков. Я хочу задать еще один вопрос: пользовалось ли ведомство финансов для финансирования власти Комитета членов Учредительного собрания металлическими деньгами в какой-нибудь форме.

Филипповский. Нет, не пользовалось.

Раков. Выпускались ли в оборот металлические деньги.

Филипповский. Нет.

Раков. Выпускались ли какие-нибудь облигации, которые служили гарантией того кредита, который оказывала буржуазия Комитету членов Учредительного собрания.

Филипповский. Никаких займов, которые бы так или иначе гарантировала буржуазия не было.

Раков. Не выпускал ли облигации военного займа и займа свободы в качестве денег.

Филипповский. Нет».

Пятаков попытался прервать допрос свидетеля, казавшийся ему чересчур детализированным. Но Раков формулировал свои вопросы, прекрасно понимая, что обвинения коммунистами Комуча в полной зависимости от буржуазии (по поговорке «кто платит, тот и заказывает музыку»), повиснут в значительной степени в воздухе, если выяснится, что никакой финансовой зависимости и помощи подобного рода не было. Тем более, что от предыдущих свидетельских показаний у аудитории создавалось именно такое впечатление. Пятакову подобный ход событий не нравился и он попытался вмешаться. Между Пятаковым и Раковым состоялся следующий обмен репликами:

«Председатель. Вам, как человек ведшему эту работу, конечно, интересно задавать подробные вопросы, но нас интересует только политическая сторона дела, был ли заем. Свидетель показывает, что нет.

Раков. Гр. председатель, мы тут вчера слышали целый ряд утверждений нелепых и не соответствующих действительности, и я хочу эти утверждения рассеять.

Председатель. Мало ли сколько мы здесь нелепостей слышали. Дело в том, были ли политические действия со стороны буржуазии. Мы слышали, что не было.

Раков. И я к этому веду. Значит, те облигации, которые якобы являлись гарантией буржуазии, не были гарантией, а имели другое значение. Нужно разъяснить этот вопрос с помощью свидетеля, больше вопросов не имею»<sup>97</sup>.

Попытка Крыленко и Пятакова больше не возвращаться к неудобным для себя вопросам и не давать слов для объяснения Ракову и Гендельману под давлением подсудимых 1-й группы провалилась после длительного спора с Крыленко и Пятаковым, которых обвинили в том, что те вновь хотят «разломать рамки процесса». (Как мы уже писали, подобное обвинение было выдвинуто в адрес властей после того, как 20 июня в зале суда разрешили выступить делегациям от рабочих Москвы и Питера, требовавших самой беспощадной кары эсерам. То, как боролись подсудимые 1-й группы за возможность осветить правдиво характер и социально-экономическую политику Комуча и как настойчиво пытались этого не допустить власти, еще раз говорит о том, насколько важной и тем и другим представлялась эта тема.) В результате фактически состоялась продолжение спора, когда Раков и Гендельман подробно ответили на ряд обвинений, прозвучавших накануне, и дали свои трактовки событий и явлений. На заданный не без ехидства вопрос Пятакова: «Объясните, если были такие хорошие отношения с трудящимися массами, то почему Вас так легко разогнали?» Раков ответил: «Это требует подробного объяснения. Может быть разрешите окончить мое объяснение, а затем дать объяснение, почему это произошло? <...> Я только хочу подчеркнуть, что те утверждения, которые раздавались на судебном следствии, в значительной степени не верны, ибо не подтверждались никаким фактическим материалом... Гражданин Председательствующий вчера рассматривал протоколы заседания Комитета членов Учредительного собрания, подробно останавливаясь на теме возвращения владений прежним собственникам или возвращения промышленных предприятий прежним владельцам. <...> Та экономическая политика, которую проводит Комитет членов Учредительного собрания, в значительной степени определялась теми программами и положениями, которые были выдвинуты ЦК ПСР перед 8-м Советом партии, которые здесь оглашались и авторство которых выяснилось со стороны гражданина Тимофеева. Мы не были сторонниками огульной национализации всех промышленных предприятий. Мы считали и считаем такую огульную национализацию промышленности актом, губящим саму промышленность. Наша политика в области промышленно-хозяйственной жизни на территории Комитета членов Учредительного собрания сводилась к следующему: крупные фабрично-заводские предприятия оставались в ведении государства, более мелкие производства или производства, в которых государственная власть в данный момент не так остро была заинтересована, передавались органам местного самоуправления. В тех немногих протоколах заседаний Комитета членов Учредительного собрания, которые приложены к делу, вы найдете, что некоторые промышленные предприятия, национализированные еще советской властью, передавались не прежним владельцам, а органам местного самоуправления, губернским, уездным земствам и городским самоуправлениям. Мелкие промышленные предприятия, которыми не в силах была управлять государственная власть, мы действительно отдавали прежним владельцам, но с одним условием — определенной нормой выработки этих предприятий, запрещением локаута и неуклонным соблюдением тех законов по рабочему вопросу, которые считал необходимым проводить Комитет членов Учредительного собрания <...> Я здесь напоминаю, что, может быть, эта программа до некоторой степени напоминает ту экономическую политику, которую в данный момент проводит Советская власть»<sup>98</sup>.

Пятаков не стал втягиваться в весьма щекотливый для коммунистов вопрос о схожести экономической политики Комуча и большевистского НЭПа, поневоле введенного вместо губительной для страны политики «военного коммунизма», предпочтя акцентировать внимание на том, что экономическая политика Комуча проводилась в интересах буржуазии: «<...> я оглашал документы о совещании из представителей промышленников и рабочих по восстановлению частной собственности». На это Раков ответил: «У нас оставался на месте Совет Народного Хозяйства почти в том же составе, в каком был при Советской власти, и он как раз этими вопросами регулирования отношений в области промышленности и занимался. Я говорю, что вся та политика, которая проводилась Комитетом членов Учредительного собрания, вряд ли чем-то отличалась от той политики, которую сейчас проводит Советская власть, ибо она свою прежнюю политику назвала ошибкой. И нельзя нам ставить в вину то, что Вы сейчас сами признали ошибочным. Гражданин Покровский нам, социалистам-революционерам, пытался до некоторой степени вменить в вину, что мы хотели насадить помещичьи хозяйства, что мы хотели защищать интересы помещиков. Это говорят нам, членам Центрального Комитета партии социалистов-революционеров. Конечно обвинять можно во всем, но то, что здесь хотел сделать гражданин Покровский, это на русском языке называется хватить через край. Изображать партию социалистов-революционеров, как партию, которая охраняет интересы помещиков, <...> это по меньшей мере действительно является тем, что я назвал хватить через край. Комитет членов Учредительного собрания прежде всего объявил законом те 10 пунктов, которые были приняты на однодневном заседании Учредительного собрания. В Самарской губернии, в Симбирской губернии, в этих районах распределение земли среди крестьян было произведено еще до Октябрьского переворота, было произведено как раз Советом крестьянских депутатов. На этой почве бывали, так сказать конфликты и именно, я вспоминаю, конфликт самарского комиссара и самарского земельного Комитета с центральной правительственной властью. Если гражданин Покровский и отыскал приказ, то этот приказ касался как раз тех засевок и тех угодий, которые не принадлежали крестьянам и никогда не могли принадлежать помещикам, а принадлежали публичным органам власти. Сбор с этих земель должен был производиться под контролем органов местного самоуправления, как с земель, не объявленных частной собственностью. Вот к чему этот приказ имеет отношение. В Самаре, как нынче из оглашенных документов видно, как раз были подтверждены те временные правила, которые были выработаны 2-м самарским Советом крестьянских депутатов еще до Октябрьского переворота»<sup>99</sup>. Во время полемики всплыл интересный факт о закупке хлеба в Самаре французами, который обвинением интерпретировался как своего рода дешевая распродажа родины империалистическим хозяевам. Раков объяснил, «что закупали хлеб этот раньше, оказалось, что он заготавливался для русской и союзнической армии еще во время 1917 года и, вот для закрепления этих операций с покупкой хлеба были выданы те деньги, о которых упоминается в протоколе Комитета членов Учредительного собрания», не упустив при этом возможности указать, что хлеб благодаря той экономической политике, которую проводил Комуч, стоил в 5—8 раз дешевле, чем было до и после него, при Советской власти. Продолжать эту весьма щекотливую для большевиков тему (тем более что разговор о хлебе носил вовсе не академический характер — у всех еще свежи были воспоминания о страшном

голоде в Поволжье в 1921 г.) Пятаков не стал, предпочтя вернуться к благодатной теме возврата эсеровским правительством земли помещикам. Он процитировал протокол заседания Комитета членов Учредительного собрания от 16 июля, в котором, в частности говорилось о том, что «право снятия озимых посевов, произведенных в 1917 на 1918 г. в нетрудовых хозяйствах, принадлежит каждому отдельно нетрудовому посевищику, но под контролем и при содействии уездного земельного комитета», намекая на то, что «нетрудовые посевищики» это и есть помещики. Ракову пришлось терпеливо объяснять, что «нетрудовые посевищики тут могут быть опытно-показательные станции, семенные поля, кооперативные учреждения, которые могли иметь свои посевы», а помещики не могут подходить под этот термин, ибо «еще в августе месяце 1918 года постановлением Совета рабочих и крестьянских депутатов эти помещичьи земли были отобраны явочным порядком <...>».

Не удовлетворившись этим объяснением, председатель зачитал опубликованный в «Деле народа» приказ Комитета членов Учредительного собрания, в котором говорилось: «Право занятия озимых посевов, произведенных в 1917 году на 1918 г. как трудовых, так и нетрудовых хозяйств принадлежит тому, кто их произвел. Крупные посевищики, частные экономии, производят уборку хлебов под контролем органов местных самоуправлений, причем государство оставляет за собой преимущественное право приобретать этот хлеб. Всякого рода договоры об использовании земли под озимый посев по 1918 год сохраняет свою силу». На это Раков сказал, что «речь идет об откупщиках и частных имениях, которые не успели быть к этому времени распределены среди крестьянского населения»<sup>100</sup>.

Раков все же получил возможность опровергнуть неточности и фальсификации в показаниях свидетелей обвинения, остановившись, в том числе, на финансовой политике Комуча: «Отношение буржуазных слоев населения к Комитету членов Учредительного собрания — Вам прекрасно известно, это общеизвестный факт, который виден был из публичных выступлений буржуазной печати, что эти состоятельные классы все время не менее враждебно относились к нам, чем Советская власть на фронте. Так, что здесь простое незнание дела, незнание того, как велась финансовая политика, могло только заставить свидетелей делать те показания, которые они делали. Финансовый, так называемый, совет был ничем иным, как собранием спецов по финансовому вопросу и составляли они совещательный орган при управляющем ведомством финансов. Не они управляли политикой, а они вырабатывали законопроекты и обсуждали и вырабатывали мероприятия, также как обсуждаются сейчас при Государственном Банке Советской власти»<sup>101</sup>.

Полемика состоялась и по другим узловым моментам обвинения. Раков, когда наступило время подсудимых давать объяснения, сосредоточился на опровержении главного тезиса обвинения, что Комуч возник и держался исключительно на чехословацких штыках (обвинение старательно обходило вопрос о том, что большевистская власть своей политической возбудила уже к лету 1918 г. серьезное недовольство и сопротивление поволжских крестьян, уральских рабочих и уральского казачества): «Что из себя представлял Самарский, Волжский фронт? Какими силами был выдвинут этот фронт? На какие силы опиралась та власть, которая вела в то время борьбу с Советской властью. Здесь путем допроса свидетелей пытались доказать, что это в значительной степени результат просто заговорщической деятельности Центрального Комитета партии социалистов-революционеров и движения чехословаков. Я утверждаю, что Волжский

фронт выдвинулся, создался и велся стихийным движением крестьянских и рабочих масс Поволжья. ...К моменту открытия Волжского фронта все Заволжье представляло из себя кипящий котел крестьянских и рабочих масс, не двусмысленно, а путем вооруженных восстаний выражавших свое огромное колоссальное недовольство Советской властью и крайне враждебное отношение к ней. <...> Гражданин Игнатьев, говоря о Союзе Возрождения в некоторой степени выразил совершенно правильную мысль, что весь Урал и Заволжье в движении. Фактически Советская власть там была сведена к нулю. <...> в крестьянском и рабочем движении повинна та земельная, продовольственная и общая политика Советской власти, которая безудержно с жестокостью проводилась на местах. Восстания крестьян возникали или поводом к восстанию крестьян были главным образом действия продотрядов, той выкачки хлеба из деревни штыками, что впоследствии той же самой Советской властью была названа ошибочной политикой. Крестьянство и рабочие массы после полугодового господства Советской власти отчетливо уяснили себе, что Советская власть не есть власть Советов крестьянских и рабочих депутатов, а что это есть власть коммунистической партии и она своей политикой являет прямую угрозу тем классовым устремлениям крестьянства, которые до сих пор сильно революционизировали деревню. Вот где истинная причина этих крестьянских восстаний, вот где истинная причина той крови, которая была там пролита еще до создания Волжского фронта. Тов. Тимофеев здесь упомянул, что восстание чехословаков для нас явилось неожиданным, что базисом создания Волжского фронта явилось для нас это движение крестьянских и рабочих масс, что чехословацкое движение, оно вклинилось в наш план, оно повернуло наш план, который созрел к 8-му Совету партии, как план вооруженной борьбы с Советской властью за восстановление демократии. И не чехословацкое движение, а это широкое, низовое массовое народное движение — вот те причины, вот те обстоятельства, создавшие Волжский фронт. Нам здесь допросом других свидетелей вменялось в вину, что этот Самарский фронт был создан нами в союзе с агентами союзников, чехословацкой армией. О том, что представляла из себя чехословацкая армия, чехословацкие легионы, красноречивее всего говорил свидетель Шмераль. Это было демократическое войско, во главе которого стоял социалистический национальный Совет в России, так что это не белогвардейская, не офицерская армия, а это была армия рабочих и крестьян, настроенная социалистически»<sup>102</sup>.

Допрашивая Майского, утверждавшего, что Комуч держался на чехословацкой поддержке и офицерских добровольческих частях монархического толка, Раков припер его к стенке, заставив вспомнить о целом ряде добровольческих крестьянских полков, отрядах рабочих-железнодорожников, дравшихся с Красной армией под Сызранью, о башкирских и калмыцких полках, заставил признать рабочий характер двух полков, состоявших из ижевских и воткинских рабочих, а также добровольцев из уральских крестьян. По ходу дела выяснилось, что для охраны правительственных учреждений в Самаре эсеры использовали добровольческий Николаевский крестьянский полк, а в Уфе правительственные здания охранял рабочий отряд под командованием рабочего-железнодорожника Шеломенко. Майский пытался принизить значение и количество башкирских частей Народной армии, говоря об их незначительности и о том, что они не покидали территории Башкирии, но тут же выяснилось, что два башкирских полка дрались под Сызранью, а впоследствии вовсе не были сняты в связи с малой боеспособностью с фронта, а дрались в боях

за Самару, и во время переправы через Волгу погибло очень много солдат башкир (Майский вновь пытался говорить, что погибло вообще много солдат, но вовсе не башкир, и вновь Раков уличил его, напомнив, что в силу сложившихся обстоятельств башкиры не смогли перейти по мосту, как это сделали другие солдаты Народной армии, которых как раз при переправе погибло немного)<sup>103</sup>.

Другим важнейшим пунктом полемики стали вопросы демократических свобод и репрессий против коммунистов. Раков свидетельствовал: «И свидетель Майский и другие говорили, что да, демократические свободы были объявлены, что да, Комитет членов Учредительного собрания пытался [организовать] государственный организм на основах чисто демократических, но практически эти свободы не осуществлялись. [О том,] что эти свободы были объявлены, что к практическому осуществлению этих свобод стремился на самом деле Комитет членов Учредительного собрания, свидетели по существу дела не опрашивались. Единственный аргумент, который здесь приводился для этого и для доказательства того, что практически этого не было, заключался в том, что был орган интернационалистов — небольшой журнальчик, и он был закрыт. Кем, когда и как был закрыт, свидетель Майский и здесь оказался Иваном Помнящим»<sup>104</sup>. Безусловно, этот эпитет безобиден только на первый взгляд. От выступлений Майского на процессе, действительно, складывалось впечатление, что он помнил только то, что было выгодно обвинению, и совершенно не помнил того, что работало на подсудимых. Но был и более глубокий, тонкий намек на «Ивана, родства не помнящего», подкидыша, человека без корней. Меньшевик Майский, член правительства Комуча, топящий своих товарищей по правительству и по борьбе с большевиками, был для эсеров именно таким Иваном, не помнящим родства, а точнее — ренегатом, но вслух это на процессе не говорилось.

Говоря о том, что Комуч якобы закрыл печатный орган с.-д. интернационалистов, Раков подчеркивал: «Я <...> категорически утверждаю, что ни в Комитете членов Учредительного собрания, ни в Совете управляющих ведомствами вопрос о закрытии той или другой газеты в каком-нибудь административном порядке не обсуждался. Если бы такой вопрос <...> был поднят <...>, я утверждаю, что он был бы решен отрицательно. Вот на местах, местные уполномоченные, местные военные власти пытались закрывать газеты. Так, был случай как раз с эсеровской газетой в Сызрани». На вопрос Пятакова, была ли на территории Комуча большевистская печать, Раков ответил: «Газеты, которая бы выходила как официальный орган большевистской партии, там не было, но я видел органы профессиональных союзов, которые были в общем и целом настроены по-большевистски. Они никогда не закрывались, и репрессии к ним не применялись»<sup>105</sup>.

Гендельман внес уточнения по вопросу о закрытии пресловутого «органа интернационалистов»: «Никакого постановления о закрытии и никакого запрещения издания этого органа не было. Он сам закрылся. С одной стороны, произошел раскол в редакции и в коллегии, где работал как будто на правах члена и наш товарищ Коган-Бернштейн, а потом иссякли источники средств. Вышли только два номера и газета прекратилась. Мы не финансировали ее. Вы бы, конечно, изыскали средства, но представьте себе, мы даже партийной газете не давали ни копейки на содержание, не так, как у вас делается в „Известиях“, „Правде“ и так далее. Она умерла естественной смертью из-за отсутствия средств и раскола внутри редакции, а никакого запрещения не было с нашей стороны»<sup>106</sup>.

Оспаривая утверждения об отсутствии свободы собраний на территории Комуча, Раков отмечал: «Свобода собраний у нас проводилась явочным порядком. Здесь с большой настойчивостью спрашивали, а были ли чисто большевистские собрания. Свидетель утверждает, что нет, как будто свидетель знает действительно все те собрания, которые происходили в Самаре. Я утверждаю, что происходили собрания рабочих, собрания местного населения явочным порядком. Комитет членов Учредительного собрания знал, что на этих собраниях выступают и большевики, выступают с платформой Советской власти». На вопрос председателя, существовали ли при Комуче легальные большевистские организации, Раков ответил отрицательно, но вновь добавил, что на собраниях «выступали люди, которые проводили политику и тактику Советской власти», что «для Комитета членов Учредительного собрания было вовсе не тайна и с ним вели идейную борьбу на этих собраниях, а не закрывали и не разгоняли этих собраний»<sup>107</sup>.

В высшей степени примечательна та разница в походах к свободе слова, печати, собраний и организаций между эсерами и коммунистами, которая вскрылась в диалоге Гендельмана с Пятаковым и Крыленко: «Гендельман. Если бы были большевистские органы, и если бы они занимались исключительно пропагандой своих идей (а так по существу и в этом интернационалистическом органе проводились идеи Советской власти и так далее), то они преблагополучно существовали бы. Если бы существовала большевистская организация, которая хотела бы отстаивать большевистские идеи и сплачивать вокруг себя рабочие массы, которая хотела бы работать в профессиональных союзах, советах и так далее, которая вела бы борьбу за рабочие массы и их убеждения, то она благополучно бы существовала.

Крыленко. А если, скажем, с целью восстания?

Гендельман. Если бы существовали с целью восстания (а таковую цель они себе действительно ставили), то их существование не было бы допущено, и на территории военных действий они предавались бы военным судам. Вы хотите знать, почему?

Председатель. Нет, мне ясно.

Гендельман. Может быть, ясно для вас, но ясно не так, как это имеет место в действительности. Я скажу сейчас, почему. Тогда, когда есть пути для того, чтобы бороться за народную волю, за определение народной воли без навязывания диктатуры меньшинства поработенных трудовых масс, когда всякое восстание, преследующее целью подавление народной воли не есть восстание народа, а есть восстание против народа, то оно должно быть подавлено во имя интересов народа, во имя интересов рабочего класса». Продолжение речи Гендельмана вышло далеко за рамки вопроса о деятельности Комуча: «Мы вели против вас вооруженную борьбу и если мы ее прекратили, то не потому, что мы изменили свою оценку вас. Мы ее прекратили, потому что <...> по существу борются две реакции справа и слева и вооруженное ниспровержение вас не могло бы быть учтено трудящимися массами в свою пользу. Но, если бы мы на минуту подумали, что вооруженное ниспровержение вас может быть учтено трудящимися массами в свою пользу, то граждане, какие угодно статьи применяйте, но я сейчас заявляю, мы эту вооруженную борьбу с вами начали бы. <...> Мы вполне признаем и за вами право не допускать существование тех организаций, которые организуют против вас восстание, но в том случае, если вы этим организациям дадите пути и возможности быть легальными, легально борющимися партиями против вас.

Если бы вы нам дали возможность среди рабочего класса пропагандировать наши идеи, дали возможность издавать наши газеты, проводить наших депутатов в советы рабочих депутатов, то конечно, граждане, мы никогда против вас вооруженной борьбы не вели бы. Мы предлагали вам разрешить наш спор о народовластии, об Учредительном собрании — правильно избранными Советами. <...> Мы вам заявляем, что если дадите нам возможность свободно пропагандировать наши идеи, издавать наши газеты, свободно избирать Советы, мы будем вполне лояльными гражданами, в том смысле, что никакой нелегальной, нарушающей ваши уголовные законы, борьбы вести не будем. Мы ограничились бы только идейной борьбой, сплочением масс вокруг наших лозунгов. Если вы считаете, что это признание вас как власти, то такое признание вам обеспечено. Те организации, которые на нашей территории преследовали бы задачу восстания, они не были бы допустимы и терпимы, потому что у нас все свободы существовали. Борьбаться за волю народных масс, за волю рабочего класса и трудового крестьянства у большевиков была полная возможность, как у всех других партий, но вы предпочли бороться другими способами: отсюда вы посылали туда своих шпионов и тех, кто должен был вести там подрывную и всякую другую работу, вы действовали как воюющая с нами страна. Ваши организации там не пытались вести с нами идейную борьбу. Из показаний вашего же свидетеля Дворжца вы знаете, что в тех случаях, когда были арестованы большевики, они были арестованы потому, что было найдено оружие. И вы знаете, <...> что были аресты тех, кто подготовлял ниспровержение власти Комитета членов Учредительного собрания»<sup>108</sup>.

Все утверждения свидетелей обвинения о якобы недемократичности Комуча были опровергнуты Раковым: «<...> на какие силы опирался Комитет членов Учредительного собрания в своей внутренней политике, не на фронте гражданской войны, а в своей внутренней политике. На судебном заседании было установлено свидетельскими показаниями, что все время существовал совершенно свободно Совет рабочих и крестьянских депутатов, <...> Мы знали, что в Совете рабочих депутатов было левое крыло, большевистское крыло, на 500 чел. членов Совета рабочих депутатов все время до самого конца существовало большевистское крыло, стоявшее на платформе советской власти, приблизительно в 150 чел. Они открыто там выступали, речи их печатались в местных газетах, никаких репрессивных мер ни к самому Совету рабочих депутатов, ни к тем сторонникам советской власти, которые там все время были и выступали с критикой власти Комитет членов Учредительного собрания, никаких репрессий не применялось. С ними тут же в Совете рабочих депутатов боролись за влияние рабочей массы в Самаре, мы боролись не штыками, а идейным порядком. Здесь уже оглашалось, что в Совете рабочих депутатов на первом собрании и в дальнейшем выносились резолюции, в которых выражалась готовность поддержать власть Комитета членов Учредительного собрания. Я не помню случаев столкновения с самим Советом рабочих депутатов на почве отношений внутренней политики Комитета членов Учредительного собрания. <...> здесь свидетель Майский говорил, что теснились профессиональные союзы, не было никакой свободы собрания и рабочих организаций, потому что были случаи нападения на профсоюз. Но для подтверждения этого обвинения <...> он ничего иного привести не мог, кроме того, что военная власть города где-то теснила квартиру профсоюза. Майский должен был бы подтвердить, что <...> свобода организации рабочего класса в административном порядке ничем

не стеснялась. Здесь на этих собраниях рабочие массы мы призывали не штыком, не пулеметами, а вели идейную борьбу. <...> я мог бы привести бесчисленные доказательства того, что не существовало холодных отношений членов Учредительного собрания к крестьянской массе на этой территории. <...> Свидетель Майский подтвердил другое — что в области рабочей политики как раз Комитет членов Учредительного собрания сохранил те основные нормы, те основные законоположения, которые выдвинуты Советской властью, не только не отменил их, но подтвердил и неуклонно проводил в жизнь»<sup>109</sup>.

Понять, какие вопросы волновали эсеров, какие разные подходы выявились в их среде при формулировании государственной и социально-экономической политики, поможет нам обсуждение социально-экономической программы Комуча на «съезде партии социалистов-революционеров территории Учредительного собрания», состоявшемся 4—10 августа 1918 г. в Самаре. В ходе обсуждения, впрочем, затрагивались вопросы, далеко выходящие за пределы заявленной темы и представляющие для нас огромный интерес, как по своей проблематике, так и по разногласиям, царившей среди делегатов съезда. Помимо нескольких членов ЦК ПСР и правительства — Комитета членов Учредительного собрания, присутствовали делегаты от эсеровских организаций Уфы, Оренбурга, Сызрани, Ново-Николаевска, Сергиевского завода, Тюкалинска, Белебея, Орска, Златоуста, Красноярска, Челябинска, Уральска, Иркутска, Омска и Всесибирского краевого комитета (всего с решающими голосами было 14 делегатов)<sup>110</sup>. Фактически протоколы этого партийного съезда (темы обсуждений и стилистика делают его мало похожим на все предыдущие и последующие партийные съезды, конференции и Советы партии, разве только на те, что происходили в 1917 г. до захвата власти большевиками) — это фотография проблем, сомнений и споров, возникавших в эсеровской среде Поволжья и Урала при строительстве нового государственного образования, собственной армии, налаживания экономики и снабжения, ведения новой социальной политики, определения политики по отношению к различным социальным классам и группам, болезненного согласования партийных целей и задач с теми государственными целями и задачами, которые они ставили перед собой.

Член ЦК ПСР М. А. Веденяпин в своем докладе, открывшем съезд, подчеркивая роль партии в свержении большевиков и образовании Комуча, отмечал: «После последнего Совета партии Центральный Комитет послал своих членов для организации восстания в Поволжье и на Урале. Была установлена связь с чехословаками. В Самаре также шли переговоры с ними. Брушвит для связи с чехословаками был отправлен в Пензу. Но когда Пенза взята, местный комитет отказался от организации власти. Во взятии Самары участвовали активно наши партийные силы. Немедленно был организован Комитет членов Учредительного собрания»<sup>111</sup>. Веденяпин подчеркнул и ту выдающуюся роль, которую ПСР уже сыграла и продолжает играть в очищении страны от большевизма и восстановлении «нормальной жизни»<sup>112</sup>.

С докладом о продовольствии выступил член УС Алмазов, констатирующий, что «...закон о хлебной монополии остается только на бумаге и поэтому его в силу необходимости пришлось отменить и объявить вольную продажу, но вольная продажа представляет собой также опасность, ибо дает повод для спекуляции. Ограничивать ее какими-либо рамками не представляется возможным, т. к. **экономическая жизнь страны возможна только без принуждения** (выделено нами. — К. М.). <...> Главный тормоз

установления прочного продовольственного аппарата это отсутствие денежных знаков. Но комитет членов Учредительного собрания предполагает использовать для этой цели застрявшие в Самаре, Симбирске, Казани и проч. городах различные транзитные грузы, которых будет приблизительно на 10 млн. рублей. Констатируя продовольствие в настоящее время (так в тексте. — *К. М.*) докладчик находит, что острота его миновала, т. к. сейчас происходит регистрация урожая, который в этом году даст очень хорошие результаты. Необходимо будет только наладить заготовку хлеба для армии и потребляющих губерний»<sup>113</sup>. Примечательно, что на вопрос представителя эсеровской организации г. Белебея Казаринова о наличии гарантии, что при свободной заготовке хлеба населению он не будет реквизирован уполномоченными по низким ценам, докладчик ответил утвердительно<sup>114</sup>.

Доклад по земельному вопросу был сделан членом УС и управляющим Ведомством земледелия С. С. Масловым, который заявлял: «...в земельном вопросе при большевиках почти никаких изменений не произошло и в настоящее время для приведения в нормальное положение необходимо наладить как на местах, так и в центре аппараты в виде земельных комитетов. <...> До полного освобождения всех территорий Российской республики от большевизма приходится этот вопрос на местах регулировать в зависимости от местных условий. <...> Частная собственность на землю никаким образом восстановлена не будет»<sup>115</sup>.

В докладе о земском самоуправлении и съезде земств и городов территории Учредительного собрания эсер Третьяков констатировал, что «...необходимо органы местных самоуправлений и особенно мелкой земской единицы поставить на должную высоту и что в этом отношении выработан съездом целый ряд положений»<sup>116</sup>.

Но основная дискуссия вспыхнула по вопросу о том, какую политику следует проводить ПСР — классовую или надклассовую? Как смотреть на себя — как на политическую социалистическую партию со своими обязательствами перед трудящимися классами, или как на партию, ставящую в качестве приоритета государственнические цели и задачи? На какие классы и социальные группы следует опереться ПСР в своем государственной политике? Нужно ли вступать в коалицию с несоциалистическими партиями? Какие формы участия солдат Народной армии в политической жизни допустимы? Какие уроки следует извлечь из опыта Временного правительства, проявившего излишнюю мягкость и демократичность? Каковы направление и характер экономических реформ Комуча?

Член правительства — руководитель военного ведомства Комуча видный эсер Климушкин, выступая с сообщением «о работе и задачах Комитета членов Учредительного собрания», сделал целый ряд весьма жестких и определенных заявлений, давших толчок дискуссии: «Цель нашей работы — возрождение России, возрождение политическое и экономическое. Мы призываем всех к защите Учредительного собрания, забыв свои классовые интересы. Мы зовем всех объединиться в борьбе с внешним врагом — Германией. ...В борьбе за Учредительное собрание опорой своей мы считаем крестьянство. Рабочие из строя вышли, они плетутся в хвосте движения и [являются] только свидетелями переворота и событий. Крестьяне идут на нашей стороне, 80% крестьянства активно нас поддерживают и в будущем мы будем черпать силы из крестьян. Справа со стороны буржуазии мы не только не встречаем поддержки, но наборот интрига против нас развивается. Подпольная работа идет везде, в особенности в Сим-

бирске и Казани. <...> Правые понимают, что сейчас не время выступления, думая опереться на офицерство, мутят его. Касаясь офицерского состава, должен сказать, что в массе своей оно демократично. Существующие другие армии чисто офицерские, как например Алексеевская, монархичны, в них до 90% правых, жаждущих захватить власть и создать военную диктатуру; это же желание наблюдается и у кадетов. Пока оно не особенно страшно, но опасно, потому, что первая же попытка разложит армию, ибо большого доверия у солдата к офицерству нет. О штабе и взаимоотношениях с ним я могу сказать, что Штаб представляет собою конгломерат всех настроений и течений. Часть штаба стоит определенно за военную диктатуру. ...Но у нас нет людей, чтобы заменить всех своими. Нам придется иметь что-нибудь, чем остаться с пустым местом. <...> Конечно, каждую минуту мы можем Штаб распустить, Штаб это знает и чувствует.

По вопросу об организации власти следует сказать, что власть, по нашему мнению, должна быть коалиционной, включая и к.-д. <...> Большинство должно быть определенно-социалистическое. Сконструированная власть должна быть Учредительным собранием или его эмбрионом — частью Учредительного собрания. Организация власти партиями должна иметь место. По поводу приказа № 155 о запрещении солдатам участвовать в выборах в городские самоуправления необходимо сообщить, что вопрос этот очень тщательно обсуждался в Комитете и единодушного решения в смысле запрещения (так в тексте. — К. М.). Здесь много причин, заставляющих быть на стороне запрещения. Не говоря о том, что во время предвыборной кампании армия, как таковая, перестает существовать, следует сказать, что со стороны многих Городских Самоуправлений были определенные требования о недопущении к участию в выборах воинских частей, как не заинтересованных в хозяйственной жизни данного города. В настоящий момент политика власти должна быть твердой и жесткой. Идти по стопам Временного правительства — значит потерять все. И мы, опираясь на демократию, ради ее интересов будем проводить диктатуру демократии. Конечно, **если мы не встретим поддержки со стороны демократических партий, то как с.-р. будем проводить диктатуру партии с.-р.** (выделено нами. — К. М.)<sup>117</sup>».

Целый ряд утверждений и, особенно, последнее производят сильное впечатление своей определенностью и категоричностью. Но заблуждением было бы думать, что эта определенность и категоричность была свойственна всей эсеровской партии. Безусловно, это была точка зрения эсера-центриста (точнее было бы сказать, правоцентриста), отличная от точек зрения и правых (Н. Д. Авксентьев, И. И. Фондаминский, А. А. Аргунов, В. М. Зензинов (в это время)) и левоцентристов, чуть позже пошедших на переговоры с коммунистами (В. К. Вольский, К. Буревой, Н. И. Ракитников, А. Либерман и др.). Это единственное известное нам публичное заявление такого рода (публичное, конечно, относительно — на закрытом от чужих ушей партийном съезде), и насколько оно было распространено среди руководителей (и тем более на более низких эшелонах партийного организма), мы сказать не можем. Климушкин был, конечно, известен резкостью своих взглядов, но в то, что это мнение было только его личным, не верится (в том числе и потому, что прямых опровержений этого высказывания на съезде не последовало).

Впрочем, в ходе разгоревшейся дискуссии выяснилось, что далеко не все эсеры-делегаты были склонны соглашаться с решительным Климушкиным (нельзя не отметить, что коммунисты относились к нему

с нескрываемой яростью и ненавистью, что неоднократно прорывалось и в прессе и на процессе с.-р., но в их руки он попал лишь в мае 1945 г. в Праге). Уфимский эсер А. Л. Шеломенцев вступил в спор с Климушкиным по вопросу о пассивности рабочих в борьбе с большевиками и об участии солдат Народной армии в выборах, заявляя: «Относительно участия рабочих в перевороте, я должен сказать, что неверно, что рабочие вышли из строя. Наша армия добровольческая в большей части из рабочих. Рабочие всегда и теперь помогли перевороту (Уфа). Правда, освободили нас чехи, но им помогли рабочие и крестьяне. Возрождение России ложится на создание демократической армии, армии солдат-граждан, лишение избирательных прав солдата, по моему мнению, является ошибкой. Лишение права участвовать в общественных организациях возвращает нас к прошлому. Я знаю, что дисциплина в армии нам необходима, но не дисциплина кулака»<sup>118</sup>.

Оренбургский эсер Л. В. Кенарский солидаризовался со своим уфимским товарищем: «Неправильное заключение, что рабочие не принимали участия в перевороте и работах настоящего времени. В Златоусте рабочие резко оппозиционны к большевикам и только они не допустили эксцессов в городе. Ведь крестьяне больше были затронуты большевиками. Вот почему кажется большее их участие. Для борьбы с большевиками и для поддержки авторитета Учредительного собрания необходимо опираться на рабочих, крестьян и казачество. Относительно подпольной работы монархических организаций я должен сказать, что с ними бороться нужно сейчас. Откладывать борьбу значит готовить себе кулак за собственной спиной. Необходимо предупредить себя от всяких последствий как слева, так и справа. В вопросе о лишении избирательных прав солдат я присоединяюсь к высказанному Шеломенцевым. Приказ об этом есть результат давления справа»<sup>119</sup>.

Впрочем, нашлись и несогласные со столь резкой оценкой приказа, как, например, эсер Гаргер, заявивший: «Добровольцы, как сознательная часть войска, понимают его необходимость, малокультурные мобилизованные — приказом недовольны, в особенности, потому, что армия живет еще в той местности, где она собрана. Бояться разложения армии не приходится, ибо 90% ее стоит на платформе Учредительного собрания»<sup>120</sup>. К. И. Одинцов, представлявший эсеровскую организацию г. Уральска заявлял: «По вопросу рабочих в перевороте необходимо учитывать %% соотношения рабочих и крестьянства и поэтому заявление тов. Климушкина неправильно»<sup>121</sup>. С заявлением, что данное мнение Климушкина есть его личное мнение, выступил член УС Шмелев, подчеркивавший: «Мы опираемся на демократию и как на передовой ее авангард — рабочих»<sup>122</sup>. Вместе с тем он поддержал необходимость приказа № 155: «Сейчас мы только начинаем создавать армию и участие армии в предвыборной кампании разложит ее. <...> Другое дело, участие в общественных и политических организациях — этого запрещать нельзя»<sup>123</sup>.

Одним из спорных вопросов явился вопрос о коалиции с несоциалистическими партиями и ее конструкции. По словам эсера Голубкова, вопрос о власти обсуждался в Самарском Губкоме ПСР еще за две недели до падения Советской власти: «Перед нами было два течения. Одно — соглашение с партиями, стоящими на демократической платформе, включая и к.-д., и из этого соглашения вытекало [коалиционное] правительство, но победило второе, говорившее, что только члены Учредительного собрания должны из себя дать власть, почему существующей власти и дано название Комитет Учредительного собрания. Это течение закрепляет

идею Учредительного собрания и дает возможность каждой области представительство там, освободившись от большевиков. <...> Всякая другая власть, не ставшая текущей работы, а занятая только будущим, не могла и не может существовать. Народ считает Учредительное собрание властью, и мы пошли по пути преемственности. Всякая другая власть была бы властью меньшинства над большинством. Необходимо указать, что это не есть творчество Самарской организации. С этим согласились Центральный Комитет и Поволжские организации. <...> Задачи, лежащие перед властью, и определяют ее. Целью власти является защита страны от врага внешнего и внутреннего и восстановление политической и экономической независимости России. Перед нами стоит задача организации двух фронтов и тыла»<sup>124</sup>.

Л. В. Кенарский, соглашаясь в целом с выступлением предыдущего оратора, отмечал, что тот педалировал вопросы ее легитимности и выборности, упустив другую сторону: «Эта власть встретила сочувствие и поддержку широких слоев демократии не потому, что она является выборной, но и потому что эта власть отвечала задачам демократии. Если бы на месте Комитета членов Учредительного собрания были не социалисты-революционеры, а, скажем, кадеты — то демократия едва ли бы им поверила. Следовательно — помимо выборности необходимо учитывать и другое условие, а именно, чтобы выборная власть отвечала задачам демократии»<sup>125</sup>. Вывод же Кенарского был предельно ясен и резок — раз существует «недоверие демократии к правым партиями, следовательно, не может быть и речи о включении в состав власти», а коалицию надо строить «по признакам национальным»<sup>126</sup>.

Задаваясь вопросом, не есть ли Учредительное собрание «утопленный труп», Алмазов подчеркивал, что борьба с большевиками «в течение 8 месяцев не дала никаких других лозунгов, объединяющих вокруг себя народ, кроме Учредительного собрания»<sup>127</sup>, и что «отстаивать коалицию задача партии». Он также призывал учиться у большевиков защищать власть и не останавливаться «перед проведением жесткой политики»<sup>128</sup>.

Член ЦК ПСР Веденяпин недвусмысленно сформулировал принципиальное различие правительственной коалиции периода Временного Правительства 1917 г. и Комуча 1918 г.: «...при организации власти должна быть положена в основу определенная деловая социалистическая программа. Мы не можем организовать власть иную, как коалиционную, но эта коалиция не будет коалицией Временного правительства, она будет организована не по признакам существующих политических групп, а деловая организационная по задачам и целям, заложенным в основу ее организации. Могут быть у власти все, кто принимает эту программу»<sup>129</sup>.

Но не только это показывало, что эсеры учились на старых ошибках. Тот же Веденяпин, известный своими левоцентристскими взглядами, тем не менее возражал против допуска армии в политическую жизнь, ссылаясь на губительный пример 1917 г., «когда была допущена в армию политика» и «армия разлагалась при Временном правительстве», а также считал невозможным «участие армии в политической жизни по чисто техническим причинам»<sup>130</sup>.

Бурная дискуссия вспыхнула и после доклада «О политике партии» члена УС Подвицкого, в котором он заявил прямо противоположное тому, что говорил Веденяпин: «...в настоящее время не должно быть партийной политики, ибо разруха в стране настолько велика, что для возрождения страны необходимо направление на это дело всех творческих сил страны, что

невозможно достигнуть при социально-классовой борьбе. В первую очередь нужно поставить вопрос, какие задачи должна поставить теперь Государственная власть. Эти задачи — во-первых: борьба с большевизмом, борьба с Германией в контакте с союзниками, восстановление нормальной жизни страны, восстановление демократической общенародной власти — созыв Учредительного собрания и органов местных самоуправлений. Общероссийская власть должна получить санкции Учредительного собрания, а так как власть должна быть создана немедленно, то предполагается созвать Государственное Собрание, которое и создаст временную общегосударственную власть, и партия с.-ров должна оказать полное содействие в организации безболезненно этой власти, и новой власти придется пойти на уступки и подерживать капиталистическую промышленность. Рабочих организовать в профессиональные союзы и внести единство политики в ряды рабочей партии. По земельному вопросу придется издать временные правила, регулирующие землепользование»<sup>131</sup>.

С докладчиком вполне соглашался Алмазов, заявлявший, что «революция пошла на ущерб и необходимо удержать максимум завоеваний Февральской революции и, **учитывая реальную действительность, приходится оценивать положение не только с точки зрения классов, но главным образом с точки зрения всей нации** (выделено нами. — *К. М.*). Необходимо принять все меры для организации крестьянских союзов и создания крестьянских боевых дружин»<sup>132</sup>. С ними обоими согласился и другой участник съезда, Басманов<sup>133</sup>.

Но и оппонентов оказалось немало. Делегат съезда Костюшко восклицала: «никаких уступок от программы-минимум не должно быть. Необходимо в первую голову проводить закон о социализации земли и создание партийных организаций среди крестьянства и рабочих». Ей вторил Казанский, считавший, что «...теперь настал момент выявить свою партийную политику. Необходимо создать классовые экономические организации, профессиональные союзы и партийные организации, через которые можно вести классовую борьбу и реальную поддержку Учредительного собрания»<sup>134</sup>.

Подводя итог, отметим, что совершенно очевидно, что эсеры заговорили на разных языках и мыслили уже по-разному. Рискнем высказать предположить, что сложись обстоятельства иначе и существой партия эсеров в России на свободе, уже вскоре было бы, как минимум, две новые партии, возникшие на базе ПСР. Одна часть эсеров создала бы реформистскую социалистическую партию и заседала в парламенте и в правительстве, пропагандируя приоритет национальных интересов над классовыми (а одними из ее главных лидеров были бы Н. Д. Авксентьев, Е. К. Брешко-Брешковская, А. А. Аргунов, И. И. Фондаминский, В. М. Зензинов). Другая, куда вошли бы левоцентристы и немало центристов, упрекала бы первую в отступничестве от классовой политики и защищала бы интересы трудящихся всеми легальными способами и, прежде всего, развертывая профсоюзную борьбу и укрепляя свои позиции в пролетариате и крестьянстве (совсем не исключено, что эта партия, пожалуй, также имела бы весьма сильные позиции в парламенте, где по ряду вопросов консолидировались бы со своими бывшими однопартийцами и с меньшевиками против кадетов). Впрочем, представляется, что и те и другие не забыли бы предательства левых эсеров, совместно с большевиками свергавших Временное правительство, разгонявших Учредительное с обрание и создававших в центре и на местах ЧК.

Отметим также, что эсеровское правительство — Самарский Комуч — было создано в условиях гражданской войны и даже само его создание было ответом большевикам на захват власти и разгон Учредительного

собрания. Это крайне важно подчеркнуть, потому что, хотя правительство Комуча и решало широкий круг социально-экономических задач и хотело смотреть в будущее, но само его недолгое существование в условиях фронтального противостояния Красной армии, не позволило многим из его начинаний претвориться в жизнь, заставляя его сосредотачиваться на решении сугубо насущных задач — противостоянии большевикам, а потому многое осталось в потенции. Пожалуй, было бы правильнее смотреть на Комуч в контексте той главной стратегической линии ПСР в эти годы, о которой хорошо сказал член ЦК ПСР Е. М. Тимофеев: «Мы не отказались от своих задач, стоящих в нашей программе: они одни и те же в течение всей русской революции от октября до настоящего времени — это спасти все, что возможно, из завоеваний февральской революции. С каждым днем все меньше и меньше завоеваний можно было спасти, нам все больше приходилось суживать круг наших устремлений, но мы все возможное делали. И в целях обороны и защиты достоинства февральской революции, которые формулируются нами в идее народовластия и прежде всего укрепления демократического режима в стране и закрепления земли за крестьянами и тех норм рабочего законодательства, которые превращали наших пролетариев из рабов в свободных граждан — эти завоевания мы пытались спасти всеми мерами»<sup>135</sup>. Рискнем высказать предположение, что просуществовуй Комуч несколько лет, в том числе и в условиях мирного времени, мы увидели бы совсем иную модель развития общества, чем коммунистическая. Нет сомнений, что эсеры уже шли и продолжили бы идти по тому пути, по которому некоторые европейские социалисты в послевоенное время пришли к тому, что называют «шведским социализмом» или «австрийским социализмом». Но в любом случае не следует кратковременную практику Комуча в условиях гражданской войны отождествлять с моделью «эсеровского социализма».

### **§ 3. ТАКТИКА ПОВЕДЕНИЯ, ПОБЕДЫ И ПРОИГРЫШИ ОБВИНЯЕМЫХ 1-й ГРУППЫ В КОНТЕКСТЕ ПАРАДОКСОВ И КАЗУСОВ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ ПРОЦЕССА**

Вынесенные в название главы слова члена ЦК ПСР Е. М. Ратнер отражают, с одной стороны, гипертрофированность обвинения, из-за политического заказа игнорировавшего и судебную практику и даже собственные законы, с другой — необходимость противостояния этой искусственно созданной обвинительной конструкции, включившей в себя и государственных обвинителей, и судей, и подсудимых 2-й группы, и их защитников, почти сплошь состоявших из видных коммунистов, и наконец, коммунистической публики, сидящей в зале суда. Но это обстоятельство только сильнее приковывало внимание к процессу и к поведению на нем 22-х эсеров, а наблюдатели, как правило, не спешили «входить в положение» подсудимых, испытывавших давление этого гипертрофированного обвинения.

Столь пристальное внимание к поведению революционера на суде и строгость его оценок были вовсе не случайны. Суд и поведение революционера на нем всегда приковывали к себе внимание современников, становились предметом разговоров, маленьких и больших сенсаций. Одной из таких сенсаций, скажем, в свое время стало оправдание террористки

Веры Засулич, всколыхнувшее общественное мнение России и Европы. Достаточно быстро революционеры осознали, что их поведение на суде и особенно их последние речи, передаваемые из уст в уста, а то и цитируемые корреспондентами газет (теми, кто на это осмеливался) играют огромную роль в поддержании их образа честных и бескомпромиссных борцов с режимом за счастье народа и имеют колоссальное воздействие на умы молодежи, идущей им на смену.

Поэтому уже в 70—80-е гг. революционеры придают особое значение, скажем так — «агитационно-имиджевой» стороне своего поведения, а последнее слово подсудимого, чем дальше, тем больше превращается в определеннный жанр со своими законами. Те из революционеров, кто соответствовал в своем последнем слове требованиям жанра и ожиданиям своих товарищей, становился знаменитым и запоминался революционной молодежи, зачислявшей его в ряды героев революции (и это при том, что данный человек мог до этого им быть малознаком и не отличаться какими-либо героическими поступками). Но этот же механизм действовал и в обратном направлении. Стоило только какому-либо известному и заслуженному революционеру повести себя на суде недостойно, и он терял лицо. Ярчайшим примером подобного рода стала история со старейшим революционером Н. В. Чайковским, которого называли «дедушкой русской революции» по аналогии с «бабушкой русской революции» Е. К. Брешко-Брешковской. Арестованные осенью 1907 г., они оба были выведены на один процесс и здесь произошло неожиданное...

Н. В. Чайковский категорически отрицал свою причастность к ПСР. Более того, устами своего адвоката Маклакова, заявлял, что информация в одной из эсеровских газет о поездке Чайковского как представителя партии в Америку для сбора денег есть ложь, т. к. социалисты в целях саморекламы любят пользоваться именами известных людей. По свидетельству В. Н. Фигнер, незадолго до своего ареста Чайковский резко конфликтовал с ЦК по поводу отказа последнего развернуть партизанскую войну на Урале, а кроме того поддержал членов Центрального военно-организационного бюро в их борьбе с ЦК за сохранение своей автономии. Кстати, и арестован Чайковский был на конференции военных работников, обсуждавшей план противодействия ЦК. В. Н. Фигнер замечала, что в связи со всем этим поведение Н. В. Чайковского на суде «с точки зрения старой революционной этики, являлось в высшей степени компрометирующим. Он заявил, что он не член партии, отрекся от того, что ему было поручено собирать деньги в Америке, и допустил своего защитника по поводу полномочия о сборе, взятого у него при аресте, сказать, что революционные партии нередко пользуются фикциями и выдают за своих членов людей, не давших на это своего согласия. А после процесса Чайковский-революционер обратился в мирного гражданина и объявил, как рассказывали тогда, что теперь надо капусту садить, а не революцией заниматься». Какова была реакция революционеров на подобную неожиданность со стороны «дедушки русской революции»? В. Н. Фигнер вспоминала: «В брюссельской социалистической газете появилась соответствующая статья, где „Бабушка“ превозносилась, о Чайковском говорилось вскользь, а секретарь Международного бюро говорил с насмешкой об этом „дедушке революции“. По-видимому, он был осведомлен о его поведении на суде. Когда же позднее Чайковский вернулся в Лондон, его старый товарищ Волховский высказал ему резкое порицание. Я тоже выразила своей неудовольствие в письме, которое сохранилось у меня в черновике»<sup>136</sup>.

Сами эсеры воздержались от каких-либо публичных оценок поступка Чайковского, что в атмосфере того времени было более чем объяснимо. Но в 1913 г. «американские эсеры» переслали в Париж письмо Чайковского, где он пытался снять с себя часть вины (попутно переложив ее на самих эсеров). В ответ на недоуменные вопросы «американцев» Е. Е. Лазарев в своем пространном письме подробно прокомментировал аргументы Чайковского и наконец-то ясно сформулировал отношение эсеров к его поступку. Что касается письма Чайковского «американским эсерам», то оно, по мнению Лазарева, «распадается на три части. Во-первых, в нем чувствуется стремление автора в чем-то оправдаться, рассеять какие-то неблагоприятные слухи и найти виновников этих слухов. Во-вторых, автор выясняет мотивы своего поведения на суде, говоря, что считал, — а может быть считает и до сих пор, — что партия с.-р. за время его ареста и в период его освобождения до суда над „Дедушкой и Бабушкой русской революции“ — умерла, больше не существует и существовать не будет; что „старые группировки охватил реакционный процесс разложения“, моральный престиж партии так низко пал, что он, Чайковский, своим достойным гражданским поведением на суде не в силах был уже восстановить этого престижа. Если бы партия существовала, как в былые лучшие времена, то он, конечно, вел бы себя так, как вела себя Бабушка, и от принадлежности к партии публично не отказался бы. В-третьих, автор говорит о необходимости приготовления новой партии, с новой программой, где старая „книжная интеллигенция“ будет заменена новой, „народной интеллигенцией“, говорит о своем теперешнем участии в подготовке массовой организации на экономической почве»<sup>137</sup>.

Говоря о своем личном отношении к Чайковскому, Е. Е. Лазарев писал: «Он по-прежнему остается для меня „другом Николаем“: сорок лет более или менее тесного идейного общения и совместной работы невольно закрепляют в чувстве дружбы и личной привязанности. Но он сам отнял у меня право считать и называть его „товарищем“». Упреки Чайковского в адрес старых товарищей, якобы клеветующих на него, Е. Е. Лазарев убедительно отводил: «Уж кому-кому, а старым товарищам менее всего имеется выгоды в настоящий момент вспоминать даже об этом инциденте. ...Многие забывают, что кроме писаных законов существует неписаный — закон общественного мнения, — закон могучий, но неуловимый, который написан в воздухе всех стран мира. И от него Чайковскому, как и всем нарушителям этого закона, — никуда не уйти! Ни чувства дружбы, ни чувства сострадания — ничто не может отменить этого закона: его действия регистрируются человеческой историей»<sup>138</sup>. Но зато «бабушка», державшая себя на суде достойно, еще сильнее укрепила свой авторитет даже в глазах революционной молодежи, настроенной в это время весьма скептически к эсеровским вождям, «прозевавшим» Азефа и не сумевшим сохранить свое лицо в последующих внутрипартийных разборках.

Крайне важно, что в определенных условиях поведение на суде, как и поведение на следствии, могло быть не только прямолинейным, как это требовалось партийными предписаниями, а носить более мягкий, компромиссный характер. Так, например, большевичка Е. Д. Стасова, вспоминая о суде в Тифлисе в 1913 г., указывала на противоречие и даже парадокс, вставший перед нею — выполнение того, что диктовалось партийной линией («то есть заявить о том, что я социал-демократка, и заключительное слово использовать для принципиальной речи») означало бы ухудшение положение товарищам, так как ...дело происходило

на Кавказе и судьбы не могли присудить женщине больший срок, чем мужчинам, вне зависимости от реальной вины: «Пришлось поэтому согласиться на полное неучастие в суде с отрицанием своей виновности по первому вопросу, но с признанием себя социал-демократкой»<sup>139</sup>.

Представляется, что то, что рекомендовалось в начале XX в. эсеровской и с.-д партиями своим членам в качестве эталонной нормы поведения на предварительном следствии (отказ от дачи показаний при признании своей партийной принадлежности) и на суде (признание партийной принадлежности и использование последнего слова в качестве своего политического кредо) и продолжало считаться эталонной, лучшей, оптимальной, своего рода «высшей планкой». Но все соответствовать «высшей планке» не могли, и потому в «обычном праве революционера» была определена и «низшая планка» поведения на следствии и суде. Таковой «границей недозванного» считалась выдача своих товарищей и публичное покаяние и отречение от партии (на следствии же нередко в своей партийности не признавались). Но как и на следствии, так и на суде реально практиковалась, скажем, тактика «выпутывания». В этом плане показательно свидетельство эсера-крестьянина В. Ф. Гончарова, судившегося по делу Воронежской организации партии эсеров в военно-окружном суде. Обвинялись подсудимые в «составлении по взаимному соглашению преступного сообщества с целью свергнуть существующий государственный строй и заменить его социалистическим». «Утверждение обвинительного акта о составлении нами сообщества меня обидело, — писал впоследствии Гончаров. — Мне не нравилось оно потому, что никаких разговоров об этом у нас никогда не поднималось. На самом деле мы вступали в существовавшую партию. Однако за это судить нас не хотели, а старались представить все дело так, что оно является чем-то случайным и не имеющим никаких корней»<sup>140</sup>. Впрочем, само судебное заседание не произошло на подсудимых большого впечатления и «в течение тринадцати дней перерывы судебных заседаний на обед были самым лучшим временем. Нас отводили в большую комнату и оставляли на несколько часов одних. Из тюрьмы присылали ушат пищи, но ее никто не ел — хватало передать от родных и знакомых. Наше время быстро пролетало за теплой товарищеской беседой»<sup>141</sup>.

Результаты суда были несколько неожиданны для подсудимых, т. к. шестерых из них даже оправдали, «и среди них довольно забавно — Екатерину Ганину. Эта семнадцатилетняя девушка была заядлой партийной работницей. На предварительном следствии она отказывалась от всяких показаний и только скандалила с жандармами. На суде она сидела, словно ребенок, и лишь в последнем слове заявила, что не понимает, кого именно обвиняют: „У меня есть старшая сестра и тоже Екатерина. Почему же одна на воле, а другая в тюрьме? Ведь обе же Екатерины. Как же понять, о ком вы говорили?“». Ей удалось прикинуться тихоней и так наивно спросить судей, что они не доглядели в ней ту партийную работницу, которая давала своей старшей сестре сто очков вперед»<sup>142</sup>. Е. Ганина воспользовалась тем, что обвинение трактовало дело как случайное, не имевшее корней, и выпуталась из него. Представляется, что она прошла по грани — еще немного, и она дала бы повод для обвинений себя в отречении от партии.

Тактика поведения 1-й группы обвиняемых на процессе 1922 г., с одной стороны, опиралась на предыдущий опыт большинства из них, проходивших в царское время по самым разным, в том числе и очень серьезным процессам (как, например, А. Р. Гоц, Н. Н. и Е. А. Ивановы,

Е. М. Тимофеев и некоторые другие). С другой стороны, в их распоряжении оказались самые лучшие русские защитники, сделавшие себе громкое имя на ведении политических процессов еще в царское время — такие, как Н. К. Муравьев, А. С. Тагер, В. А. Жданов и др. В перехваченном чекистами письме «Люсьмарин» (Г. Покровский) от имени Центрального бюро ПСР сообщал 25 марта 1922 г. в Заграничную Делегацию: «ЦБ, как вы увидите из протоколов, решило пригласить защиту и придать делу больший шум постольку, поскольку можно в условиях гнусной российской действительности. Организация защиты поручена адвокату В. Муравьеву, совместно с Н. Д. Соколовым, Ждановым, П. П. Малянтовичем»<sup>143</sup>.

Более того, эсеры-эмигранты привлекли к консультированию как подсудимых 1-й группы, так и русских и иностранных защитников и собственных юристов (в том числе и А. Ф. Керенского, известного не только в качестве премьер-министра Временного правительства, но и блестящего адвоката по политическим делам), и юристов, к услугам которых партия прибегала за границей. Это видно из сфотографированного чекистской агентурой в Берлине письма В. М. Зензинова к А. Ф. Керенскому от 27 апреля 1922 г. Оно начиналось словами: «...я думаю, что ты не можешь не интересоваться процессом наших товарищей и не откажешься принять участие в общей работе по этому делу», далее следовала просьба переговорить с рядом видных европейских социалистов для финансирования поездки защитников-социалистов. Но самое главное было в конце письма: «не возьмешь ли ты на себя общее юридическое обоснование защиты для введения в курс дела иностранцев, дабы в Москву они приехали несколько уже подготовленными. По-видимому, здесь нужно будет составить на французском языке нечто вроде экспозе. Если нужно, тебе в этой работе может помочь Кобяков. Подумай об этом и дай нам ответ — может быть ты бы для этого согласился приехать в Прагу или еще лучше в Берлин и мы бы передали бы тебе весь имеющийся у нас материал (а ведь ехать ВСЕМ защитникам все равно придется через Берлин). Наконец, напиши нам, что следует истребовать из Москвы для подготовки здесь защиты, т. е. наметь нам те вопросы, которые необходимо отсюда поставить Муравьеву, Соколову и Жданову <...> — **у нас имеется к тому техническая возможность** (выделено нами. — К. М.)<sup>144</sup>».

Было сфотографировано агентурой и письмо В. М. Зензинова (под псевдонимом «Акакий») от 1 мая 1922 г. членам российского ЦБ ПСР, в котором говорилось: «<...> прилагаю при настоящем письме копии своих трех писем: двух из Брюсселя на адрес ЗД от 23 и 24 апреля и одно письмо А. Ф. Керенскому в Париж от 27 апреля. Добавлю к этим письмам лишь следующее: если наши иностранные товарищи действительно, придут в Москву на процесс, желательно избегать ставить их в затруднительное положение — сочувственные манифестации в честь отдельных из них, конспиративные свидания и пр. Здесь очень опасно дать большевикам какой-нибудь повод причинить им неприятности. Я в беседе с бельгийцами обещал Вам об этом написать, дабы Вы со своей стороны приняли надлежащие меры и не давали никакого повода для большевистской провокации, которая вообще, более чем возможна. Прошу Вас обратить внимание на последний пункт моего письма к А. Ф. Керенскому. Нам необходимы просимые сведения — объем и характер их. Вам легче определить при помощи тех юристов, которые нашими товарищами привлечены уже в качестве защитников. Нам телеграфировал Устинов, что Вы официально уполномочиваете нас пригласить в качестве защитника Вандервельде — желательно было бы получить об этом официальную

бумагу (хорошо бы и о других предполагаемых защитниках — или дайте нам право назвать эти имена), чтобы ее можно было опубликовать в общей прессе — это произвело бы большое впечатление и имело бы несомненно практическое значение<sup>145</sup>».

Таким образом, мы можем констатировать, что в выработке «юридической составляющей» тактики подсудимых 1-й группы приняли участие лучшие представители русской политической адвокатуры. Их вклад в целый ряд громких успехов подсудимых 1-й группы и их защитников, которые уже в самом начале процесса нанесли ряд сильнейших ударов своим оппонентам, нельзя недооценивать. Впрочем, нельзя и переоценивать значение, так сказать, «юридической составляющей» на этом процессе, имевшем к юриспруденции весьма относительно касательство. Советы защитников 1-й группы и А. Ф. Керенского, безусловно, влияли на выбор тактической линии и конкретные действия подсудимых, но нельзя забывать о том, что гигантский опыт адвокатов был малоприменим к тому действу, что развернуло советское правосудие на процессе. Процесс превратился в политическое шоу, где нарушались не то что принципы римского права и общепринятой в Европе (и соблюдавшейся в царской России) практике, но грубо попирались даже советские законы. Поэтому, чтобы быть адекватным вызовам власти, подсудимые использовали не только юридические процедуры и способы, но и приемы и логику политической борьбы, и естественно тот опыт поведения революционера на суде, которым они обладали.

Процесс начался со скандала — отвода обвиняемыми всего состава суда и обвинителей. Элемент скандала таился в аргументированности этого отвода и в доказательствах нарушения Верхтрибом советских законов и собственных инструкций при конструировании суда. Отвод был сделан от имени 22 подсудимых Гендельманом. Он сослался на статью Кодекса, гласившую, что «Судья может быть отведен в тех случаях, когда стороной указаны обстоятельства, вызывающие сомнения беспристрастности судьи», распространявшуюся и на общественных обвинителей. Подчеркнув, что все судьи и обвинители — коммунисты, а сам председатель суда Пятаков — член ЦК РКП(б), Гендельман заявил: «то обвинение, которое здесь ставится, это есть продолжение той нашей борьбы с коммунистической партией, которую мы раньше вели в советах. Теперь она перешла, благодаря изменившемуся положению, в залу суда. Ввиду этого я хочу констатировать, что таким образом, этот процесс, который имеет место — это есть состязание между двумя партиями, нашей партией социалистов-революционеров и вашей партией большевиков-коммунистов»<sup>146</sup>. Ссылаясь на материалы следственного дела и обвинительного акта, Гендельман (трижды прерываемый председателем суда, требовавшим краткости) довольно убедительно подытоживал: «Итак, следственные действия производились по предписанию Центрального комитета Российской Коммунистической партии. Кроме того, гражданин Галкин, входящий в настоящее присутствие, принимал, оказывается, участие в этих следственных действиях, а это, согласно вашему же заявлению, противоречит Кодексу и требует отвода, ибо кто принимал участие в дознании и следствии, не может принимать участия ни в Распорядительном Заседании, ни в судебном заседании. На предварительном следствии было достаточно фактов, указывающих, что если лицо, ведущее следствие, принадлежит к Российской коммунистической партии, то права обвиняемых и подсудимых не ограждены. Мы все сидим уже давно в ваших тюрьмах, и обвинение нам было предъявлено только теперь,

после декрета, в котором вместо Всероссийской чрезвычайной комиссии было установлено Государственное политическое управление. Таким образом, мы уже давно были осуждены и несли наказание по тому делу, которое сейчас только ставится на суд. <...> Имеется целый ряд лиц, привлеченных вместе с нами к настоящему делу; они, тем не менее, подверглись административной ссылке, никаким декретом Советской власти не предусмотренной. Этот факт служит доказательством, что приговор наш предрешен, поскольку его выносят члены Комиссии ВЧК и Российской коммунистической партии.

Я имею много доказательств: я констатирую, что благодаря заявлению гражданина Председателя, я отбрасываю ряд оснований для отвода. Приведу следующие: нарушены правила судопроизводства даже во время организации этого суда: кто является обвинителем по нашему делу. — Гражданин Крыленко, который в то же самое время является Председателем Верховного трибунала, а между тем это, опять-таки, несовместимо и недопустимо и предусмотрено в вашем же кодексе. Гражданин Крыленко является мужем гражданки Розмирович, которая вела предварительное следствие по этому делу. Меня мало интересует, будет ли он обвинять или нет, но это иллюстрация того, что ни с чем не считаются в данном процессе, не считаются, прежде всего, с процессуальными нормами. <...> Я заявляю, что для нас, граждане, суд этот является судом Коммунистической партии, диктатурой Коммунистической партии. <...> Вот почему мы не рассматриваем себя как подсудимых на этом суде. Вот почему мы заявляем, что мы сюда пришли только потому, что присутствии двух Интернационалов дает нам надежду на то, что мы сможем в известных пределах свободно говорить и свободно, в лицо вам, навстречу вашему обвинению, бросить наше обвинение. Все, что я говорил, вполне доказано и говорит за то, насколько основателен мой отвод и лучшим доказательством правильности моего отвода будет то, что, несмотря на всю его очевидность наш отвод будет оставлен вами без уважения»<sup>147</sup>.

Любопытно поведение в этой ситуации председателя суда. Попытавшись предоставить слово для ответа Крыленко, Пятаков наткнулся на заявление защитника Муравьева о предъявлении отвода и государственному обвинителю. Слова Пятакова о необходимости разобрать сначала отвод суда, а потом отвод государственного обвинителя, заставили Муравьева даже засомневаться в четкости своей формулировки — раз трибунал не понимает недопустимости «заключения государственного обвинителя», в тот момент, когда «у защиты имеется отвод» против него. Тогда Пятаков предоставил слово Г. Ратнеру, который от имени обвиняемых из 2-й группы заявил: «Мы признаем полное право Высшего органа власти пролетариата судить нас за наши преступления. Мы заявляем, что наше полное доверие настоящему суду не оставит нас в течение всего процесса. Мы рассматриваем заявление только что выступавшего здесь представителя другой группы подсудимых, как попытку срыва процесса, как попытку уклониться от прямой ответственности пред трудящимися массами за делавшиеся и продолжающиеся делаться преступления»<sup>148</sup>. Речь Г. Ратнера была встречена аплодисментами зала, на что председатель суда указал публике: «<...> выражения со стороны публики своего удовольствия или неудовольствия абсолютно недопустимы»<sup>149</sup>. (Впрочем, как мы увидим дальше, подобные заявления не мешали допущенным в зал по специальным разрешениям, выдававшимся партийными комитетами, вести себя весьма вольно в ходе всего процесса, хотя целью их присутствия на слушании были оказание морального давления

на подсудимых 1-й группы и, соответственно, выражение моральной поддержки обвиняемых 2-й группы). Ефимов от имени «обвиняемых боевиков» также заявил протест против отвода суда, которому они «вполне доверяли», и обвинил членов ЦК ПСР в желании перенести ответственность с себя на 2-ю группу обвиняемых<sup>150</sup>.

Дискуссия между двумя группами обвиняемых была завершена заявлением члена ЦК ПСР Тимофеева: «<...> во избежание всяких недоразумений, для того, чтобы наш отвод не был истолкован, как желание уклониться от суда, я заявляю, что в течение двух с половиной лет пребывания в тюрьме мы искали суда и не мы уклонялись от этого суда, а та партия, которая нас судит. Я заявляю, что мы от суда не уклоняемся и мы от суда не уйдем. Мы желаем этого суда и нашими судьями являетесь не вы, а трудящиеся всего мира»<sup>151</sup>. Защитник Муравьев, цитируя циркуляры и положение о Верховном трибунале и народном суде, требовал отвода, прочел целую лекцию о принципах состязательности сторон, организации суда и судебного разбирательства и убедительно доказал нарушение не только духа, но и буквы существующего закона в их организации. Муравьев заявил: «<...> по мнению защиты, участие председателя Трибунала при судебном разбирательстве, которое происходит перед самой той коллегией, в которой он председательствует, главой которой он является, заключает в себе коренное и основное нарушение принципа равенства сторон. <...> Мы конечно, скажем, что и для Юпитера закон должен существовать, что Юпитер, в данном случае Верховный трибунал, своим подчинением этому положению, сам должен показать подведомственным ему трибуналам законопослушность действующим в Российском государстве законоположениям. <...> Защита встречалась с этим в других процессах, и бесплодно я, в течение целого ряда недель обращал внимание высших властей в стране на необходимость исправить, наконец, эту ошибку, дабы приговоры, произносимые трибуналами, не носили в себе этой порочной формальности, которая подрывает доверие к приговору Трибунала»<sup>152</sup>.

Крыленко отклонил все ссылки на статьи Процессуального кодекса, мотивируя это тем, что тот должен был начать действовать только с 1 июля 1922 г., а статьи об отводе судей в положении о народном суде на ревтрибунал не распространяются. Его попытка обойти вопрос о себе была настолько неуклюжей, что ее пресек председатель суда. Отвечая на претензии обвиняемых и защиты, Крыленко сказал, что «<...> в действующем письменном законе не имеется ни одной статьи, которая говорила бы о праве отвода сторон».

В ходе обсуждения вопроса об отводе суда и обвинителей, принявшего весьма бурный характер и касавшегося самых разных его аспектов, прозвучала следующая фраза Тимофеева, раскрывающая мотивы эсеров, пришедших на процесс, и оценку самого коммунистического суда в целом: «Я только подхвачу слова гр-на Садуля, не остановленного гражданином председателем. Гражданин Садуль сказал, мы здесь будем вести политическую борьбу. Гр-н Бухарин сказал, что брошенную перчатку мы поднимаем. Затем и пришли сюда мы. Не для того, чтобы оправдаться, не для того, чтобы спасти свою жизнь, а чтобы с Вами в политической борьбе столкнуть наши мысли. И я думаю, что седая Клара Цеткин приехала сюда не за нашими головами, а чтобы столкнуться с нами в честном политическом бою. Если Вы достойны звания судей хоть в этом направлении, если Вы можете гарантировать нам открытую политическую борьбу, Вы как судьи должны уйти. Вы не судьи, Вы — сторона. Милости просим против нас к этому столу, столу обвинения. Но как судей, мы вас не признаем»<sup>153</sup>.

Это фактически программное заявление Тимофеева является ключевым для понимания не только позиции 1-й группы подсудимых, но всей специфики процесса в целом. Принять эту позицию Тимофеева, и признать себя только стороной в процессе власть и не хотела и не могла. Она предпочитала более выгодную позицию — сочетание преимуществ и судей и обвинителей, как и сочетание преимуществ игры одновременно и на политическом и на юридическом поле.

Весь процесс пронизан ситуациями, когда обвинители и защитники 2-й группы, чувствуя, что в данном конкретном вопросе политические позиции эсеров уязвимы, переходили на политический язык и вели игру на политическом поле (подробнейшим образом разбираая, скажем, фракционные разногласия в эсеровской партии), но как только они сами чувствовали уязвимость своих политических позиций (скажем, в аналогичном вопросе о разногласиях в большевистской верхушке в конце 1917 г.) и обвинитель Крыленко и председатель суда Пятаков сплошь и рядом обрывали нападение подсудимых заявлениями, что судят ЦК ПСР, а не ЦК РКП(б), и просили вернуться от политических обобщений к конкретным фактам обвинения.

Следует иметь в виду, что фактически впервые после 1917—1918 гг., когда эсеры еще сохраняли кое-какие легальные возможности (присутствие в Советах, участие в митингах рабочих и т. д.) виднейшие представители эсеровской и коммунистической партий вновь встретились лицом к лицу. Да, конечно, в эти годы велась и заочная полемика на страницах газет и листовок, и заочная полемика на митингах, «полемика» разной государственной политикой (Совнарком и Комуч) и даже вооруженная борьба, но чтобы вот так, лицом к лицу, пусть и в зале суда, встретились и имели возможность в течение многих недель спорить, полемизировать, обвинять, клеймить, с одной стороны — А. Р. Гоц, Тимофеев, Ф. Ф. Федорович, Д. Ф. Раков, М. Я. Гендельман, Е. М. Ратнер, Н. Н. Иванов, С. В. Морозов, с другой — Г. Л. Пятаков, Н. И. Бухарин, Ф. Кон, М. Н. Покровский, Н. В. Крыленко и др., подобное состоялось впервые.

Их полемика о сущности происходившего в стране с 1917 по 1921 г. и ответственности за это представляемых ими партий представляет большой интерес. Охвачены оказались все важнейшие моменты участия эсеров в гражданской войне. Так, по предложению Пятакова, судебное следствие и группировка свидетелей были разбиты «на 11 групп, соответственно ходу обвинительного акта»:

I. Вооруженная борьба вплоть до Учредительного собрания включительно —

- 1) Зимний дворец, наступление третьего корпуса,
- 2) восстание юнкеров,
- 3) связь с иными белогвардейскими организациями и подготовка восстания в день Учредительного собрания.

II. Связи с союзниками и белогвардейскими организациями.

III. Роль правительства Антанты в русской контрреволюции и их отношении к партии эсеров.

IV. Поволжье и крах Учредительного собрания.

V. Архангельск.

VI. IX-й Совет партии эсеров, раскол эсеров по 9 Совет.

VII. Состав Центрального Комитета, Военная Комиссия партии эсеров, установление Центрального Комитета Военной Комиссии, Московского Бюро Центрального Комитета, Бюро фракции Учредительного собрания и других.

VIII. Военная работа партии эсеров 1917 и 1918 годов.

IX. Террор.

X. Экспроприации.

XI. Подрывная работа»<sup>154</sup>.

Во время судебного следствия, в обвинительном заключении, на процессе и в приговоре прозвучало две версии событий гражданской войны, с совершенно различными оценками их характера и ответственности за них. Большевики, хотя и обещали опубликовать стенограммы процесса полностью, конечно же, не могли позволить себе представить версию эсеров и их аргументы в полемике с большевиками в чистом, неотредактированном виде. Выступления эсеров публиковались в кратком пересказе с соответствующим образом расставленными акцентами. Большевики обеспечили за собой полную монополию на оценки октябрьского переворота и событий гражданской войны, сначала зажав рот своим оппонентам, а потом и физически их уничтожив. Большевистская версия событий, прозвучавшая на процессе в обвинительном заключении, приговоре, в речах виднейших коммунистов Бухарина, Луначарского, Крыленко, Кона, Клары Цеткин и др., была опубликована в многочисленных изданиях и стала единственной для советской историографии, последствия чего сказываются и поныне.

В стенограммах процесса нашла свое отражение и реакция коммунистов на целый ряд весьма серьезных аргументов эсеров, чей анализ происходивших событий и политики большевиков сегодня представляется, как минимум, требующим весьма серьезного к себе отношения. Свидетельством бессилия противопоставить серьезным аргументам такие же аргументы служили смех и шум сидящих в зале двух тысяч коммунистов и постоянные попытки председателя суда и государственного обвинителя сменить тему, оборвать выступающих напоминанием, что судят не большевиков, а эсеров.

Одним из примеров подобного рода может служить полемика Тимофеева с председателем суда о политике большевиков, приведшей к Брестскому миру и потере позиций России при заключении Версальского мира.

«Тимофеев. Я вместе с другими товарищами говорил, что нужен мир, но всеобщий, не сепаратный мир, и я не отрекаюсь и не раскаиваюсь в тех словах, которые в обвинительном приписываются мне лично, как автору одной из статей, что сепаратный мир горше всякой войны. И не я один был такого мнения, — гражданин Бухарин развивал такую же мысль, но впоследствии отказался от нее. Мы знали, что сепаратный мир должен был обязательно быть Брестским миром, другим миром этот мир не мог быть. Мы понимали, что как бы не стремились в настоящее время в России к хлебу, земле и свободе, для нас эта проблема не будет разрешена до тех пор, пока не будет разрешена проблема войны: выход или участие в ней России. И мы знали, что вопрос о нашем участии в войне есть вопрос не только вопрос, касающийся трудовых масс России, но это вопрос, касающийся интересов трудящихся масс всего мира. Не знаю, может быть, будет большой смелостью с моей стороны утверждать то, что я утверждал тогда, но все-таки мы народ смелый, и я буду утверждать то, что говорил тогда, что протяни Россия, с напряжением всех своих сил протяни она свое участие в мировой войне, не было бы того Версальского трактата, не было бы того порабощения народа и трудящихся масс, которое имеется сейчас (смех). Правда, насчет версальского мира можно смеяться, сколько угодно — это так смешно, что революционная Россия оказалась совершенно вышибленной, что в этот момент революционная

Россия могла только поддержать предложение гр. Радека, Берлиновским, Спартакowцем (так в тексте. — К. М.) и (пропуск слова в тексте. — К. М.) это все и больше ничего, когда она могла бы в качестве полноправного гражданина войти в концерт... (шум, смех). Это смешно.

Председатель: Я Вас не перебивал, но право, вопрос о версальском мире не имеет ни малейшего отношения к процессу эсеров. Я прошу в дальнейшем не злоупотреблять временем. Если мы будем говорить на какие угодно темы, тогда мы никогда не окончим этот процесс.

Тимофеев: Не я внес в программу нашего заседания вопрос об Антанте. Если мы будем говорить об Антанте, мы не раз вернемся к Версальскому миру.

(Крыленко. — Не в этой плоскости).

Председатель: Прошу успокоиться зал. Если Вы берете на себя ответственность за Версальский мир.

Тимофеев: Первое обвинение относительно того, что мы являемся виновниками гражданской войны, выставленное в обвинительном акте, я отвергаю от лица своего и своих товарищей и полностью принимаю ответственность и перед страной и перед трудовыми массами и перед всем миром, что мы не хотели сепаратного мира и квалифицировали этот мир как будущую войну. Целый ряд наших положений был повторен гр. Чичериным в Генуе»<sup>155</sup>.

Весь этот эпизод весьма показателен. Вряд ли этот спор можно назвать дискуссией или честной полемикой. Ведь рассуждения Тимофеева, что Россия достаточно было еще немного напрячь свои силы, не только хорошо коррелируются с высказыванием У. Черчилля о том, что корабль России пошел ко дну, когда был уже виден берег, но и с тем, что Германия уже терпела неизбежное поражение. Ведь даже Брестский мир, который дал Германии возможность перебросить свои войска на Запад и поддержать свои силы огромными репарациями, полученными от России, и в виде золота, и в виде продовольствия, топлива, и прочего — позволили ей дотянуть только до конца 1918 г. И все разговоры о том, что история не знает слагательного наклонения, в данном случае не больше, чем нежелание признать очевидные факты и то, что без этих репараций и переброски войск Германия так долго бы не протянула, и то, что не об интересах страны и нации думали большевики, заключая сепаратный мир, из-за которого Россия, положившая столько людей и сил для победы в этой войне, ничего от нее не получила, а только о спасении собственной власти.

После зачтения обвинительного заключения подсудимые 1-й группы (поддержанные своими адвокатами) после долгих дискуссий с государственным обвинителем Крыленко и председателем суда Пятаковым, все же добились права высказаться по обвинению в целом. Хотя адвокаты настаивали на праве каждого обвиняемого дать объяснения по сути предъявленных ему обвинений и требовали соблюдения советских законов, именно этого и требовавших, Пятаков согласился лишь на компромисс — на выступление от имени всей 1-й группы Тимофеева (от 2-й группы такого же права потребовал Григорий Ратнер). Любопытно, что хотя компромисс и был достигнут, каждый трактовал его по-своему — Пятаков считал, что Тимофеев должен рассказать о правильности или неправильности фактической стороны обвинения, а Тимофеев — о мотивации руководства партии эсеров, принимавших те решения, за которые ее судили. Пятаков (а с ним и обвинение, и большевистская верхушка) вовсе не желал, чтобы уже в самом начале вспыхнул спор по существу, спор, в котором позиции большевиков были заведомо проигрышными.

Между Пятаковым и Тимофеевым вспыхнула характерная перепалка, которую стенограмма передавала так: «Председательствующий: Слово для фактических пояснений о фактах, изложенных в обвинительном заключении, имеет обвиняемый Тимофеев.

Тимофеев: Моя задача и трудна и вместе с тем легка по одной и той же причине: обрисовать мотивы, двигавшие нас к тем деяниям, которые частично и в значительной части совершенно верно приписываются нам, как авторам их, это очень легко, потому что прежде всего всем известно. Ни для кого не является новостью, что партия социалистов-революционеров, возглавляемая данным составом Центрального Комитета...

Председательствующий: Виноват, речь идет не о мотивах, о них будет речь в заключительном слове. Речь идет о правильности или неправильности фактического изложения обвинительного акта.

Тимофеев: Я о об этом и хочу говорить»<sup>156</sup>.

Конечно, Тимофеев стал говорить не о том, чего хотел от него Пятаков, а изложил суть идейных расхождений эсеров с коммунистами после 25 октября 1917 г., хотя и вынужден был взять в качестве ориентиров основные пункты обвинения: «Я говорю: всем известно, что партия социалистов-революционеров и ее Центральный Комитет в нашем лице защищал в Октябрьские дни ту государственную и демократическую организацию России, которая была создана и выдвинута Февральской революцией. Всем известно, что вся борьба против попыток коммунистической парии, тогда еще партии большевиков, сделаться государственной властью и утвердить так называемый советский режим, прежде всего пала на наши плечи, и эти факты неоспоримы. Вместе с тем является совершенно новым утверждение обвинительного акта, что мы и наша деятельность были источником, вызвавшим гражданскую войну в России. Я помню момент, когда я лично прибыл в Петроград, немного позже партийного съезда, который удостоил меня чести быть избранным в состав Центрального Комитета. Первое, что мне бросилось в глаза на улицах, — это плакаты, расклеенные новой властью или партией, ставшей правительственной, плакаты, которые гласили: да здравствует гражданская война. „Мир хижинам, война дворцам“, старый лозунг социализма, был принят целиком в тот момент, и именно его на своих знаменах неслла победившая в тот момент партия большевиков. Наши выступления с этого [момента] стояли под знаменем спасения страны и революции от гражданской войны. Мы не разделяли, как не разделял одно время летом того же года и гражданин Ленин, возможность развернуть русскую революцию 17 года в революцию социалистическую. Мы не соглашались и с тем, что данная революция является революцией чисто буржуазной. Мы понимали, что Европа, переживавшая пожар мировой войны, не может вернуться к старому, чисто буржуазному укладу жизни. Мы понимали, что в России настала эра не только свержения ига самодержавия и уничтожения класса помещиков и землевладельцев, но мы также понимали, что буржуазный правопорядок в войне изжил себя, что нужен новый подход к социалистическому правительству (вероятно, следует — строительству. — *К. М.*), новые пути творческой жизни, и дело трудящихся масс, дело рабочего класса, принять самое активное участие в этой работе и вместе с тем помешать господствующей буржуазии использовать всеобщее ослабление в войне, и выдвинуть кадры рабочего класса для того, чтобы положить предел новым войнам и проложить первую тропинку в царство социализма. И вот именно, исходя из этого стремления, понимая, что базисом социалистического строительства является состояние народных

сил, а живым фактором — его организованность и спаянность, мы и выступили против октябрьского переворота как разрушающего и без того ослабленные производственные силы России и дробящего ряды российских трудовых масс. Не мы одни, граждане, выступали с такой позицией; я напомню Вам, документы в деле имеются, заявление части некоторых членов Совета народных комиссаров октябрьского состава, и заявление части членов Центрального комитета победившей тогда коммунистической партии о том, что они не могут нести ответственность за деяния победителей в полной мере и должны покинуть Совет народных комиссаров и Центральный комитет.

Председатель: Не об этом идет речь. Сейчас на скамье подсудимых сидят не члены Центрального комитета большевиков, а сидите Вы. Благоволите говорить о себе.

Тимофеев: Я и буду говорить о том, что делали мы, но я все говорю к тому, что не мы несли знамя с лозунгом: „да здравствует гражданская война“, не мы писали, как писал Бухарин, что Чернову не увильнуть от гражданской войны, не мы это писали. Наша задача была стоять на страже завоеваний февральской революции, охранять и закреплять жизнь, так как на этой почве, в случае развития революции на Западе, Русская революция, могла бы, по выражению Маркса, явиться сигналом, чтобы массы могли бы двинуться вперед. Поэтому, граждане, совершенно неверно все то, что говорится в обвинительном акте. Не от нас и не по нашей инициативе началась гражданская война. Мы были против гражданской войны и за Учредительное собрание, так как мы хорошо понимали, что октябрьский переворот грозит Учредительному собранию»<sup>157</sup>.

Речь Тимофеева, дававшего пояснения к обвинительному заключению и мотивацию эсеровского руководства при принятии решений, которые были поставлены в вину в обвинительном заключении, была воспринята как своего рода программное заявление подсудимых членов ЦК, которые сохраняли принципиальную верность лозунгу вооруженной борьбы с большевистским режимом. Надо сказать, что так оно было воспринято и властью. Ссылками на эту речь запестрели советские газеты, под впечатлением от этой речи златоустовские коммунисты потребовали в ультимативном порядке от местных эсеров самоопределиться, что в конечном счете, как уже отмечалось, привело к идее организации бывшими эсерами Ликвидационного съезда, состоявшегося уже в 1923 г.

Касаюсь тактики эсеровского руководства в начале 1918 г., Тимофеев охарактеризовал ее следующим образом: «После разгона Учредительного собрания для нас стало ясно, что нужно было ждать отхода трудовых масс от большевизма, нужно было создавать или способствовать организации трудовых масс в новых формах, и тогда, пока еще не поздно — я это подчеркиваю — силою устранить. Вызов нам был брошен разгоном Учредительного собрания. Еще до него, — если возьмете постановление Центрального комитета нашей партии, к делу приобщенное, от 19 октября, вы найдете там такие слова, — мы заявляли, что на разгон Учредительного собрания наша партия ответит всеми средствами, какие находятся в ее распоряжении. И мы стали ждать. Мы думали, что отход трудовых масс будет быстрым, и он действительно был быстрый. Очень скоро откочнулись от большевизма рабочие. Что касается крестьянства, то достаточно сказать, что как раз в эту эпоху, в начале 18 г. были формированы и пускаемы в ход рабочие дружины для собирания хлеба. Это была первая попытка сравить трудовые слои города и деревни, этих двух братьев, на которых покоились все судьбы России, превратить их в двух врагов и во славу и во

имя интересов других социальных групп залить кровью все поля и земли России. Отход рабочих и крестьян в это время заметен, и к маю месяцу позиция была уже ясна. Опять-таки не мы инспирировали в то время восстание против Советской власти. Я дальше приведу фактические данные о том, как началось и развивалось то движение, которое привело к созданию Волжского фронта, наибольшей угрозе Советской власти. Мы, правда, сделали одну ошибку, и один из обвинителей, гр. Покровский, может быть, укажет мне эту ошибку. Мы забыли, что в Русской истории имеется предохранительный клапан: что русские трудовые элементы во все времена разрешали трудные проблемы своей жизни не тем, что становились лицом к лицу к своим классовым врагам, а тем, что уходили от него. Они уходили после Иоанна Грозного и его реформ, уходили они после великих реформ Петра Великого, который на 30—40 лет всколыхнул русскую жизнь.

Председатель: Вы говорили о Версальском мире и о взаимоотношениях рабочих и крестьян; теперь заговорили о Иоанне Грозном и Петре Великом; мы так никогда не договоримся до обвинительного акта.

Тимофеев: Я не виноват, что почти вся история русской революции охвачена обвинительным актом, а русская революция является продуктом всей русской жизни.

Председатель: Так можно начать от обезьяны и, пройдя через всю историю человечества, дойти до русского народа. Я не могу позволить бесконечно говорить об этом в зале заседания, благоволиите держаться того, что написано в обвинительном акте. Прошу Вас не вызывать меня на новое замечание.

Тимофеев: Итак, я говорю, что натиск, который рабочие городов начали оказывать на Советскую власть, при первом сопротивлении со стороны Советской власти, кончился тем, что пролетариат России начал разбегаться. Он разбежался индивидуально, он уходил в эти самые рабочие дружины для выковыривания хлеба штыком. Как говорилось вообще тогда, — штык был поставлен на порядок дня. Опереться на штык, как на главный фактор — вот что делали все время большевики и вот против чего мы главным образом и боремся. <...>

Вы нас обвиняете в том, что в течение этого времени и в последующий период, когда мы формально отказались от вооруженной борьбы, на практике мы ее вели. Нет, граждане, этого не было, и судебное следствие этого не докажет. Когда мы вели открытую гражданскую войну, мы об этом заявляем откровенно»<sup>158</sup>.

Речь Тимофеева представляет огромную ценность по следующим соображениям. Во-первых, это была речь политического деятеля крупного калибра (каковым он, несомненно, и являлся), пытающегося проанализировать тактику партии и ее руководства и дающего за него отчет своим единомышленникам. Не исключено, что подобная цель как раз и ставилась. Кроме того, полемичности в этой речи минимум. Шел только третий день процесса и возможно, что Тимофеев еще не успел напитаться этим духом ожесточения, характерного для процесса. Ощущается, что то, что он говорил в этой речи, он уже многократно проговаривал в товарищеской среде за последние годы, осмысливая в разговорах и спорах недавно пережитые события и причины партийных поражений.

Конечно же обращает внимание, что не только не было ответа со стороны коммунистов на аргументы Тимофеева, но и применялись приемы достаточно саморазоблачительные и демагогические, вроде реплики Пятакова о согласии вернуться к обсуждению темы Версальского мира, если эсеры готовы взять за него ответственность.

Тимофеев, завершая свои объяснения по существу предъявленных обвинений, заявил: «Вы видите, я отмел террор, я отмел экспроприации, ибо партия их не делала. По конкретным же вопросам мы в дальнейшем объяснения вам представим»<sup>159</sup>.

Г. М. Ратнер, выслушав разъяснения Тимофеева и получив слово для таких же разъяснений, восклицал: «Мы, обвиняемые этой группы, всегда бывшие далекими от высокой политики партии, мы имеем за собой много преступлений, но одного преступления мы признать за собой никоим образом не можем. Мы не были фразерами; мы делали самые тяжкие дела, но мы никогда их не скрывали, никогда не двурушничали, а действовали прямо и решительно, и мы в этом отношении действительно плохо выполняли директивы наших старых лидеров. Если бы мы тогда же поняли тактику наших верхов, то мы должны были бы быть прежде всего самыми злостными и лицемерными политиками»<sup>160</sup>.

До рассмотрения конкретных фактов участники процесса добрались только на четвертый день процесса — 12-го июня 1922 г., начав с рассмотрения попыток эсеров организовать сопротивление большевикам в конце октября 1917 г., как привлечением на свою сторону фронтовых частей, так и организацией так называемого «юнкерского мятежа». Но тут обвинение вдруг столкнулось с неожиданным для себя сюрпризом. О чем, например, свидетельствует весь эпизод с Комитетом спасения родины и революции, юнкерским восстанием, обвинениями в адрес Гоца и Авксентьева об отречении и пр. — обвинение завязало, те линии, которые были прорисованы и которые должны были гарантировать победу — обвинения в контрреволюции, ренегатстве и отказе брать на себя ответственность — оказались не такими четкими и простыми. Показания свидетелей и подсудимых усложняли ситуацию и запутывали ее. Блицкрига у обвинения явно не получилось. Чего стоит только, скажем, ситуация, когда вопреки утверждениям Н. С. Игнатьева, что Бюро Комитета спасения родины и революции не поставило в известность Пленум Комитета, который конституировался 25-го числа, вдруг выяснилось, что есть путаница понятий. Игнатьев Пленумом называет Исполком Комитета, а Пятаков ему доказывает, что был еще один Пленум, и Игнатьев с эти соглашается. В результате все запутались, потому что перед этим Игнатьев говорил еще и о президиуме Комитета<sup>161</sup>. Получилось, что участники судебного слушания вынуждены были разбираться в совершенно невероятных и запутанных нагромождениях — кто кого выбирал и кто кому подчинялся, кто от кого конспирировал, кто перед кем отчитывался в том хаосе, который творился в это время и не мог не твориться, когда спонтанно возникали органы, подобные Комитету спасения, образованные 200-ми представителями самых различных политических и общественных партий и организаций. Парадокс лепился на парадокс и суд запутался — ведь нельзя подобное революционное время и логику его действий мерить привычным масштабом и «юридической линейкой». Мы точно не знаем, сколько времени ушло у сторон на выяснение всех этих перипетий, но в стенограммах этому посвящено 19 страниц формата АЗ<sup>162</sup>.

О невозможности мерить революционное время и обстоятельства обычным партийно-бюрократическим подходом свидетельствовала и фигура Ракина-Бруна, первого свидетеля обвинения. Из его показаний и допроса его подсудимыми выявился ряд исключительно важных деталей. Этот человек являлся секретарем Военной Организации эсеров, но эсером стал только летом 1917 г., будучи анархо-коммунистом в 1905—1906 гг., когда был за участие в экспроприации отправлен на 10 лет каторги. Именно

этот человек написал манифест 29-го октября и подписал его именами Гоца, Авксентьева, Синани и якобы своим именем. Он не отрицал, что Гоц и Авксентьев документа даже не видели. В партии эсеров Ракитина-Броуна, естественно, знать не знали (назначил его секретарем комиссии ее председатель Герштейн), а Гоц видел его последний раз тогда же, 29 октября 1917 г. Более того, уже на суде выяснилось, что они с Гоцем встречались после того, как Ракитин подписал приказ именем Гоца, но Ракитин-Броун ему об этом важном факте ничего не сказал. Таким образом, человек, статус и авторитет которого в ПСР более чем сомнителен, по собственному разумению не только написал Манифест и подписал его именами видных эсеров, не поставив их об этом в известность, но и прямо нарушил приказ Авксентьева, призвавшего к нему офицера, готового двинуть в бой офицерскую организацию в 600 человек. Ракитин единолично принял такое важнейшее решение потому, что офицер показался ему правых взглядов, а он считал необходимым делать восстание только социалистическими силами!

В это время в эсеровской партии (и в большевистской тоже) было много таких Ракитиных, принимавших на свой страх и риск, втайне от всех стратегические решения, абсолютно не соответствующие их роли, потому что именно этого они и жаждали — «играть роль». Но попытки обвинения посмотреть на эту реальность через призму партийно-статусных подходов, конечно же, не принимали в расчет всех этих ракитиных и семеновых, ведь подобные решения формально были в компетенции членов ЦК и руководителей всяческих комитетов. Этот парадокс многократно всплывал в ходе всего процесса.

Сидевшие в зале суда быстро запутались во всех этих хитросплетениях взаимоотношений, амбиций, структур и т. п. Чтобы разобраться во всем этом, то одной, то другой стороне приходилось пускаться в длинные объяснения, которые уводили обвинение от главного, топили его пусть и в важных, но подробностях. Пятаков не сразу, но все же понял, что подобное выяснение съест массу времени, запутает всех, а само по себе яйца выеденного для нужд обвинения не стоит. Но Пятаков еще не знал, что подобные ситуации повторяются не раз и не два. Они будут возникать практически каждый день, путая в сложных, но не нужных деталях и отвлекая от обвинительной линии в болото словопрений. Хотя власти хотели уложиться в месяц, процесс тянулся и тянулся, что беспокоило их, но что-либо поделать с этим они не могли. Подсудимые 1-й группы и их защитники, во-первых, были склонны к подробному выяснению обстоятельств, объяснению, как все было не просто и неоднозначно, в отличии от того, как это трактуется обвинительное заключение. Собственно, это был тот нечастый случай в политических процессах, когда подробное и доскональное исследование всех обстоятельств инкриминируемого шло на пользу обвиняемым, а не власти. Парадокс прост, власти сами поставили себя в эту ситуацию — ведь хотя и инкриминировались подсудимым действия под весьма привычным соусом по свежее испеченному Уголовному кодексу — попытка низложения существующего строя, и прочие производные от этого, но никогда сама власть не была в столь уязвимом положении. И с правовых и с моральных позиций свержение легитимного правительства и всенародно избранного Учредительного собрания было весьма и весьма уязвимо, и потому, как только подсудимые уходили с тонкой линии обвинительной цепочки фактов и погружались в детальное исследование реалий того времени, это сильно било и по власти и по обвинению, разрушая его, показывая «выстроенность» из тенденциозно подобранных фактов.

Кроме того, подсудимые были заинтересованы в затягивании процесса, служившего прекрасным информационным поводом для борьбы с режимом, для развертывания контрпропагандистской кампании, особенно за рубежом, где каждая их победа в зале суда становилась победой и на этом фронте противостояния. Примечательно, что уже в ходе допроса первого свидетеля Крыленко это смекнул и после перерыва попытался отказать от допроса двух других свидетелей по этому же вопросу. Адвокаты 1-й группы после совета с подсудимыми предложили комбинацию, выгодную им — А. А. Краковецкого как свидетеля обвинения не слушать, а заслушать свидетеля защиты, таким образом уравнивая количество свидетелей. Естественно, это не устроило Крыленко, который стал протестовать против этого. Пятаков, воспользовавшись тем, что И. П. Кашина в зале нет, отложил решение этого вопроса до его появления.

Одним из проявлений неравных условий, в которые были поставлены подсудимые, были трудности подсудимых 1-й группы с привлечением для своей защиты фактического материала. Один из них писал об этом Чернову еще накануне начала процесса (копию письма переслал в ИНО ГПУ резидент из Берлина): «Не можете ли Вы нам для суда прислать материала о крестьянском движении, очень бы желательно данные об Урале. Мне лично нужно бы материалы о Чешском движении у нас в России, история переговоров с Троцким, требование Мирбаха и т. д. **У нас ведь все архивы погибли и мы в ужасном положении, в том смысле, что у нас нет материалов и мы не можем забыть фактами то море лжи, которое на нас так обильно теперь изливается** (выделено нами. — К. М.)»<sup>163</sup>.

Преодолеть эту ситуацию подсудимые 1-й группы пытались, действуя по двум направлениям — во-первых, путем вызова свидетелей, во-вторых, приобщением к делу разного рода документов. Но так как организаторы процесса вовсе не собирались усиливать позиции подсудимых (а выявлять истину они собирались только в той части, которая была по эсерам), то оба эти направления и стали аренной ожесточенных схваток подсудимых и устроителей процесса. Каждое вечернее заседание заканчивалось тем, что подсудимые требовали вызова свидетелей и приобщения к делу документов, а им в подавляющем большинстве случаев отказывали (а если отказать не удавалось, то затягивали с исполнением).

В конце концов, обвиняемые 1-й группы, отчаявшись обеспечить себя свидетелями (выбирать они могли только из уже сидящих в тюрьмах эсеров, т. к. им четко было заявлено о неизбежности немедленного ареста эсеров, проходящих по обвинению, но пока не разысканных), количество которых было резко ограничено, пошли на беспрецедентный шаг. Гоц от имени обвиняемых потребовал привлечения Мерхалева, Ю. Н. Подбельского, Б. С. Иванова и М. С. Цетлина в качестве обвиняемых (в качестве свидетелей они были трибуналом отведены). Гоц мотивировал это «несколько странное и совершенно необыкновенное в истории политических процессов заявление и просьбу» необходимостью освещения предъявленных им обвинений<sup>164</sup>. Крыленко, выступая в качестве обвинителя, отвел это требование, заявив, что «вероятно, не хватило бы скамьи подсудимых, поскольку все те, которые принадлежат к партии эсеров и которые не отказываются от солидарности в действиях, учиняемых этой партией, тем самым учиняют преступление, предусмотренное статьями 60, 61 Уголовного кодекса и поэтому имеют основание на то, чтобы сидеть на скамье подсудимых»<sup>165</sup>. Отвечая на упреки защитника 2-й группы подсудимых Н. Н. Овсянникова об узурпации прав Верхтриба в «привлечении к суду тех или иных лиц» и издевку о желании «собрать в этот зал

те остатки партии эсеров, которые еще сохранились только потому, что находятся в тюрьмах и которые не имеются вне пределов этих тюрем», член ЦК ПСР Тимофеев вскрыл в своей речи промахи, а также слабости следствия и самого процесса: «мы не имели намерения собирать сюда остатки партии социалистов-революционеров. Собираем эти остатки не мы, а Государственное политическое управление. Я хочу только указать, что мы желаем всеми возможными средствами, в нашем распоряжении находящимися, перед Верховным трибуналом в форме судебного процесса, восстановить ту истину, которая, по-нашему, нарушена перспективами обвинительного акта, и самой постановкой данного процесса. Поэтому[,] совершенно не считаясь с прецедентами, а исходя из того, что гражданин обвинитель заявил, что революционное правотворчество совершается именно здесь, мы предлагаем вам пойти наперекор всем буржуазным пред-рассудкам и привлечь к процессу и тех лиц, которых мы вызывали как свидетелей, и посадить на эту скамью в качестве обвиняемых. Причем чтение обвинительного акта выясняет целый ряд фактов, наличие которых не может быть в ней ни проверена, ни опровергнута без этих лиц»<sup>166</sup>.

Досталось на процессе и защитникам, как иностранным, так и русским. Иностранным защитникам от II и Венского Интернационалов Э. Вандервельде, А. Вотерсу, К. Розенфельду и Т. Либкнехту было заявлено, что условия Берлинского соглашения недействительны для Трибунала, т. к. заключались III Интернационалом, и все их попытки апелляции к этому соглашению успеха не имели. Вообще иностранные защитники были поставлены в весьма жесткие условия: беспрецедентная травля в газетах, митинги по пути их следования в Москву, оскорбления в зале суда, постоянная опека ГПУ, попытки поссорить их между собой и т. п.<sup>167</sup>. Они честно и добросовестно пытались исполнить свои обязательства по защите подсудимых I-й группы, но все их усилия и аргументы блокировались, а сами они подвергались оскорблениям и угрозам. Последней каплей, переполнившей чашу терпения посланцев Запада, стала дискуссия вокруг «гласности стенограмм» процесса (защита попросила разрешения вести частную запись стенограмм, получив отказ на просьбу ежедневно предоставлять официальные стенограммы обвиняемым и защите. Русская защита поддержала это требование, а А. С. Тагер даже ссылался на недавние прецеденты, когда по двум делам Трибунал разрешил вести частные стенограммы). Бухарин протестовал против ссылок Вандервельде на Берлинское соглашение (которым обеспечивалась гласность процесса) и назвал II Интернационал желтым. Это взорвало Вандервельде: «Бухарин сделал нападки на партии, которые я представляю, но я не буду возражать ему, ибо председатель мог бы остановить меня, так как это процесс соц.-рев., а не II Интернационала, но если Бухарину угодно начать со мной политическую дискуссию, то я готов принять ее где угодно, и на каких угодно условиях, но конечно, не в этом зале, наполненном подобранной публикой, и в присутствии одной лишь оплаченной прессы». И для иностранных защитников и для их подзащитных стало окончательно ясно, что своим присутствием они больше не должны санкционировать эту пародию на правосудие. После соответствующих заявлений защиты и обвиняемых последовали протест Верхтриба, обвинившего защитников в «политической демонстрации» и попытка их задержать. Иностранцы смогли получить въездные визы только после 24-часовой голодовки, и 19 июня они уехали домой. Жена Д. Д. Донского Наталья Михайловна, присутствовавшая на процессе, так вспоминала об этом: «Защитнику А. Тагеру выступить не дали. Не допустили до трибуны

и представителей Второго Интернационала — Э. Вандервельде и Т. Либкнехта, брата казненного Карла Либкнехта. Обвиняемые виделись с ними. У нас тоже была встреча, во время которой говорили с ними С. Н. Гоц и я, поскольку мы владели языками. Они нам сказали: „Ваши мужья держатся как герои“. Сара Николаевна поднесла им большую деревянную шкатулку, вырезанную на каторге заключенными»<sup>168</sup>.

Публикация выступлений и свидетельств защитников в заграничной социалистической прессе имела колоссальное значение и придала проводившейся там антибольшевистской кампании новое дыхание и размах. В телеграмме II и Венскому Интернационалам Вандервельде, Либкнехт и Розенфельд писали: «После того, как мы оставили Россию, мы заявляем всему пролетариату следующее: 1) Верховный русский революционный трибунал игнорирует обещание, данное в Берлине III Интернационалом. 2) Представители сов. правительства заявили, что берлинское соглашение их не связывает. 3) Представитель III Интернационала Бухарин утверждает, что берлинский договор расторгнут. Жизнь обвиняемых с.-р. в опасности. Мы апеллируем к рабочим всех стран и всех направлений: Протестуйте против смертных казней».

До 20 июня 1922 г. председателю суда Пятакову удавалось более или менее соблюдать хотя бы видимость объективности на открытом процессе, к которому было приковано всеобщее внимание. С другой стороны, он не мог не подыгрывать обвинению, не мог не стеснять иностранных и русских защитников, отказать присутствовать на процессе защитникам-меньшевикам (впрочем, этот вопрос, как и многие другие, решались «тройкой» Политбюро), не мог не ограничить количество свидетелей защиты. Не мог, потому что, с одной стороны, он был одним из руководителей правящей партии, судящей своего оппонента, и маска судьи была не более, чем маска. С другой стороны, вовсе не так были сильны позиции обвинения (и власти), чтобы Пятаков мог позволить себе объективность.

Ответы на требования иностранной защиты выполнить данные ранее двум Интернационалам обещания обеспечить возможность ведения частных стенограмм, допустить защитников-меньшевиков и т. п. были крючкотворны и неубедительны. Большевики привыкли считать себя мастерами в обведении вокруг пальца и были уверены, что это им тем более удастся с иностранными социалистами. И просчитались. Пятаков, имевший незаконченное юридическое образование и никогда не выполнявший обязанности председателя суда, но ставший таковым на крупнейшем политическом процессе по воле «тройки» Политбюро, порой допускал откровенные ошибки и плохо ориентировался в юридических процедурах. Яркое это проявилось еще 15 июня 1922 г., когда он отказался занести слова Гендельмана в протокол. До сих пор в целом удачно балансируя между Сциллой объективности и Харибдой верности партийному долгу, Пятаков так разнервничался, что стал делать одну грубейшую ошибку за другой, совершенно потеряв лицо беспристрастного судьи, чем воспользовался Гендельман, прося заносить очередной перл председателя суда в протокол.

Приведем данный диалог: «Гендельман: Гр. Председатель, разрешите просить в связи с только что оглашенным постановлением Трибунала об установлении некоторых фактов и о зафиксировании их в протоколе. Я прошу прежде всего установить...

Председатель: (Перебивая). Постановление Трибунала уже состоялось, и потому разъяснения и установления фактов не требуется. Вчера перед закрытием заседания я спросил, имеются ли еще какие-нибудь

заявления. На это никаких заявлений вчера не последовало. Будьте добры, если Вам угодно что-нибудь установить, то подайте в письменной форме на имя Председателя Трибунала, и если это будет иметь действительное значение, я оглашу на судебном заседании, если же это не будет иметь никакого значения, я приложу его к протоколу.

Гендельман: Так как мое ходатайство не выходит за пределы занесения в протокол, и так как процесс в Трибунале есть процесс устный, а не письменный, я прошу дать мне возможность сейчас сделать разъяснение. Лишение меня права занесения в протокол тех или иных фактов или заявлений, есть факт высшего лишения права защиты.

Председатель: Сейчас я вам не отказываю и не разрешаю. Сейчас я этот вопрос просто снимаю и предлагаю Вам подать письменное заявление, что именно вы хотите сказать, потому что я очень опасаясь, что в ваших заявлениях или выступлениях сейчас Вы позволите себе то или иное оскорбление суда, чего я допустить никоим образом не могу. Поэтому я предлагаю вам подать в письменной форме Ваше заявление.

Гендельман: Гражданин Председатель, я подчиняюсь, но я прошу занести в протокол Ваши последние слова, во-первых, о том, что вы мне не разрешаете и не отказываете, между тем, как Вы отказываете в устном ходатайстве.

Председатель: Я этот вопрос откладываю на другой момент, после рассмотрения Вашего заявления.

Гендельман: Я прошу занести в протокол следующие Ваши слова: что Вы опасаетесь, что в моем ходатайстве будет нанесено оскорбление Трибуналу. Этот мотив, который ни на чем не основан, вы можете приводить в дальнейшем всегда, и под этим мотивом опасения того, что подсудимый воспользуется своим словом для оскорбления Трибунала, Вы можете нас, таким образом, всегда лишать своего слова. Я прошу это занести в протокол, как обнаружение уже предвзятого решения относительно того, как мы пользуемся и как мы будем пользоваться своим словом.

Председатель: В виду того, что со стороны обвиняемых, и, в частности, со стороны обвиняемого Гендельмана, уже неоднократно имели место подобного рода выступления, которые сводились к тому, чтобы дискредитировать высший суд в рабоче-крестьянской республике, в виду этого я имел основание и в данном случае опасаться подобного же рода выступления. Такие выступления с Вашей стороны уже имели место, поэтому это не заподозрение, а опасение, основанное на тех фактах, которые имели место неоднократно во время целого ряда предшествующих уже заседаний Верховного Трибунала.

Гендельман: Но тогда я прошу Вас разъяснить мне, лишаете ли вы меня слова на этом основании раз и навсегда.

Председатель: Я Вас слова не лишаю, но я Вам заявляю, что по вопросу о состоявшемся постановлении Верховного Трибунала в данном случае, так как это в мотивированной части имеет ясный, определенный политический характер, Трибунал хочет предварительно знать, какого рода заявление, существенное или несущественное, Вы хотите сделать.

Гендельман: Еще одна просьба. Я прошу Вас занести в протокол и эти слова, что постановление суда имело не судебный, а политический характер.

Председатель: Также и политический характер»<sup>169</sup>.

Гендельман акцентировал внимание на нарушении прав обвиняемых 1-й группы в своей защите. Но этого не мог стерпеть не только Пятаков, но и Крыленко, вечером, когда вновь возникла дискуссия по этому поводу, бросившийся в атаку на Гендельмана.

Не успели уйти с процесса иностранные защитники, как на долю русских адвокатов выпало тяжелое испытание. Как мы уже отмечали, после грандиозной демонстрации на улицах Москвы, проведенной 20 июня в годовщину гибели Володарского, в зал заседаний пришли делегации московских и петроградских заводов и организаций и в течение длительного времени выступали, читая резолюции пославших их коллективов и районов. В резолюциях, как правило, требовалась смертная казнь, а сами подсудимые всячески клеймились (после прочтения резолюций делегаты добавляли еще и от себя немало бранных слов).

Председатель суда Пятаков дважды брал слово — после речей московских, а затем петроградских делегатов. В первом своем выступлении он постарался сохранить реноме суда, допустившего замену всех мыслимых юридических норм средневековой вакханалией и митинговой демагогией. Очевидно, вспомнив о презумпции невиновности, сказал: «Товарищи, то, что вы здесь говорили о партии социалистов-революционеров, не все еще подтверждено, не все, быть может, правильно, не все, быть может, точно. Здесь на суде Верховного революционного трибунала речь идет не просто о политическом споре, речь идет об ответственности, о тяжелой ответственности отдельных живых людей и потому мы со всей тщательностью разбираем все доказательства как за, так и против вины как отдельных лиц, так и целых организаций партии социалистов-революционеров»<sup>170</sup>. Впрочем, во второй своей речи председатель прямо заявлял, что трибунал не будет беспристрастен в своей оценке врагов Советской власти: «Если мы установим в данном случае виновность лиц, участвовавших в вооруженной борьбе против Советской власти, то для нас безразлично, кто начал эту борьбу, для нас важно, против кого ведется борьба, за кого, за какие интересы<...> Мы просим от имени Революционного трибунала передать Питерскому пролетариату, что он может быть в полной уверенности, что его суд, суд рабочих, в лице Верховного революционного трибунала вынесет тот приговор, которого заслуживает всякий отдельный участник гражданской войны»<sup>171</sup>.

На следующий день защитники первой группы потребовали стенограммы предыдущего заседания и перерыва работы суда для того, чтобы оценить происшедшее с правовой точки зрения. По их мнению, происшедшее «разломало рамки существующих законов», и на вечернем заседании 22 июня Муравьев от имени всех защитников сделал официальное заявление. Указав, что нарушена статья 8 «Наказа кассационным коллегиям Верховного трибунала о поводах к отмене приговоров», гласившая, что участие в судебном заседании любого лица, кроме предусмотренных процессуальными нормами дает основание для «безусловной» отмены приговора, и отметив, что председатель суда и государственный обвинитель к тому же выступали на митинге, где звучали требования смертной казни (а рабочие в суде оказывали давление на судей и оскорбляли подсудимых), Муравьев потребовал начать новое судопроизводство, при новом составе суда и новом обвинителе.

Представляется, что власти недооценили способности защиты пойти на такое обострение ситуации, и устами Пятакова и Крыленко пытались доказать, что ничего экстраординарного в том, что дали высказаться рабочим, не произошло, а их заявления не повлияют на объективность суда и приговора. Крыленко заявлял, что защита никак не доказала, что участие рабочих оказало влияние на совесть судей, а посему ходатайство защиты следует отклонить. Защитники второй группы устами Ф. Кона также выступали против роспуска трибунала. Слова Муравьева — «Горе той стране,

горе тому народу, которые с неуважением относятся к закону и смеются над людьми, этот закон защищающими», были встречены криками зала и замечанием председателя суда — «за оскорбление русского народа».

После зачитания Пятаковым письменного заявления защитников о сложении с себя обязанностей, вечернее заседание 23 июня прошло в дебатах о праве защитников отказаться от их «публично-правовой обязанности», закончившихся отказом суда в просьбе защитников.

Вечером 24 июня Гендельман от имени обвиняемых первой группы заявил об освобождении защитников от их обязанностей и самостоятельной защите. Крыленко попросил трибунал обратиться в Моссовет и Наркомат юстиции с ходатайством о лишении защитников практики и привлечении их к уголовной ответственности за отказ выполнять взятые на себя общественные функции. Трибунал обвинил защитников в том, что они прячутся за спины своих подзащитных и потребовал от каждого из защитников и обвиняемых письменного заявления.

24 июня 1922 г. председательствующий Пятаков огласил следующее решение Верхтриба: «Верховный трибунал в своем заявлении от 24-го июня, заслушав заявление от группы 22-х обвиняемых обвиняемого Гендельмана, а также заявление Морачевского и, принимая во внимание, что в этом заявлении было сказано, что обвиняемые — лишь дают свое согласие на освобождение защитников от их обязанностей, выразив в дальнейшем полное удовлетворение их действиями на суде, что дальнейшие заявления обвиняемых выражают тот факт, что защитники прячутся за спины своих подзащитных, стремясь уклониться от участия в процессе, вступившем в самую трудную и ответственную фазу своего течения, что, с другой стороны, мотивировка освобождения защитников от их обязанностей совершенно беспредметна, что, наконец, группа обвиняемых тем не менее выразила свое определенное ходатайство об освобождении ее защитников, ОПРЕДЕЛИЛ:

1) Весь материал о поведении защитников препроводить народному комиссару юстиции для принятия соответствующих мер.

2) Затребовать от каждого защитника в отдельности письменные индивидуальные заявления о том, что они не могут исполнять свои обязанности»<sup>172</sup>.

Судя по отраженной в стенограмме двухдневной ожесточенной полемике по данному вопросу, есть основания полагать, что уход защиты явился достаточно тяжелым для защитников и обвиняемых решением, которое вытекало из невозможности для защиты непрерывно возвращать процесс в чисто юридические рамки, которыми не собирались себя ограничивать ни большевики, ни «чекисты». Об этом, в частности, в несколько завуалированной форме сказал Трибуналу А. С. Тагер, выступая от лица ушедшей группы защитников: «Мы должны отказаться от задач защиты, в которую никаких политических целей, никакой политической игры с самого начала не вкладывалось. По всему методу отношения и по всему характеру, пределу и объему интереса, которые проявила защита при исследовании фактов, и обвинитель и суд могут убедиться. Но есть положение, в которых даже фактов нельзя себе позволить исследовать, ибо не факты сами по себе говорят, а оценка их говорит, говорит их сопоставление, и выводы из них говорят... мы больше стоять между обвиняемыми и Вами моральной силы не имеем»<sup>173</sup>.

М. Я. Гендельман, на которого как опытного в прошлом юриста, получившего профессиональное образование за рубежом, и легла затем громадная нагрузка по обеспечению юридической защиты обвиняемых,

заявлял в своем выступлении 24 июня: «Мы отказываемся от участия наших защитников в процессе и вообще от назначения нам каких бы то ни было защитников в дальнейшем... Мы считаем, что после того, как наша защита здесь дискредитирована, после того, как она подверглась оскорблениям... мы полагаем, что это создает и для защитников и для нас моральную недопустимость дальнейшего пользования их услугами. Получается такое впечатление, что, с одной стороны, они определенным образом третируются, с другой стороны дальнейшее их пребывание в процессе создает видимость, как будто бы все благополучно и ничего не произошло. Мы сами будем своими силами бороться с предъявляемым нам обвинением. Защитники уйдут, процесс будет продолжаться так же, как он шел до сих пор»<sup>174</sup>.

О том, что отказ «чекистов» от защиты был своего рода ответным ударом на грубое попрание большевиками процессуальных норм событиями 20 июня 1922 г., свидетельствовало еще одно заявление Гендельмана, сделанное в тот же день: «После того, как мы установили, что с точки зрения защитников, с той точки зрения, которую они здесь подробно излагали, события, имевшие место 20-го июня, являются настолько крупным процессуальным нарушением, которое заставляет их ходатайствовать о том, чтобы был изменен весь состав Суда, после этого мы сделали свой вывод. И, следовательно, инициатива принадлежит нам.

Верна или не верна та оценка, которую наши защитники дали имевшему место процессуальному нарушению, это дело их убеждения, и я могу только констатировать, что когда обсуждался вопрос о допущении Вами (председательствующим Пятаковым. — *К. М.*) делегации, то их точка зрения совпадала с точкой зрения обвинителя (Крыленко. — *К. М.*), который указывал, что это идет в прямой разрез с действующими положениями права. Теперь гражданин обвинитель считает, что здесь (с уходом защиты. — *К. М.*) имеет место крупное, чуть ли не уголовное нарушение. Что это значит? Это значит, что гр-н обвинитель всякое инакомыслие по отношению к нему со стороны защитников рассматривает как уголовное деяние...»<sup>175</sup>.

Дальнейшая судьба адвокатов первой группы обвиняемых «блестяще» подтвердила печальную правоту слов Гендельмана. Своими высокопрофессиональными действиями и мужественной гражданской позицией защитники, подкрепляя весьма сильные моральные и политические позиции обвиняемых эсеров грамотной юридической защитой, доставили немало хлопот сценаристам процесса. И власть по достоинству оценила их труды. 18 августа по приказу начальника СО ГПУ Самсонова адвокаты Жданов, Муравьев и Тагер были арестованы. С Муравьева и Тагера была взята подписка о прибытии к 8 декабря 1922 г. в Казань, куда они ссылались на три года. Гуревич, которого ГПУ уличило в передаче члену ЦБ ПСР Г. К. Покровскому стенограмм процесса, в августе 1922 г. был выслан в административном порядке в Нижний Новгород сроком на два года. Безусловно, отказ от участия в процессе сначала иностранных («социал-соглашательских», по терминологии Бухарина), а затем и русских («буржуазно-цензовых») защитников наносил серьезный удар по самому процессу, срывал с него последние остатки флера законности и объективности.

Но и оставшись один на один с «советским правосудием» (вместо ушедших адвокатов, у них появляется защитница Орлова, которую чекисты подозревали в том, что она служит связью между подсудимыми и эсерским подпольем), подсудимые 1-й группы не стали легкой добычей для

своих многочисленных оппонентов. Важнейшим направлением в избранной 1-й группой подсудимых тактике стала т. н. «уликовая борьба», победа в которой принесла им большие морально-политические дивиденды.

В условиях невероятной спешки, огромных объемов обвинительного материала и напряженной работы, а также низкого профессионализма следователей ГПУ и Верхтриба огрехи (даже если не принимать во внимание фальсификации и натяжки) обвинения на суде приняли крайне широкий размах. Что говорить об Агранове, который захлебнулся в многих-многих десятках допросов (было много дополнительных допросов) и, очевидно, просто физически не мог «переварить» весь объем информации, если сам председатель Верхтриба и государственный обвинитель на процессе Н. В. Крыленко допускал порой анекдотические ошибки и огорки. Так, во время чтения обвинительного акта Крыленко заявил, что убийство Урицкого было совершено эсером Канегиссером, что вызвало недоумение подсудимых, т. к. тот был энесом, и даже Семенов с Коноплевой (якобы хотевшие убить Урицкого) категорически отрицали его причастность к эсерам. Причины такого странного обвинения Крыленко становятся ясны из защитительной речи М. Я. Гендельмана. Дело в том, что в тексте обвинительного акта машинистка сделала опечатку: посчитав, что в фамилии Канегиссер сделана ошибка, она «исправила» ее, напечатав «Канеги эсер», а в результате получилось, что Урицкого убил Канеги эсер, а не Канегиссер. Очевидно, Крыленко, не вычитавший предварительно текст обвинения, машинально все это и воспроизвел<sup>176</sup>.

Можно сказать, что выявлять всякого рода лжесвидательства и ляпы стало «узкой специализацией» М. Я. Гендельмана, единственного юриста из подсудимых первой группы. Уличал во лжи Гендельман весьма умело и с большим сарказмом, который усилился, когда Коноплева и ряд боевиков стали «вспоминать» много нового уже в разгар процесса. Так, он восклицал: «Затем то же только здесь гражданина Коноплева еще вспомнила один момент, у нее память освежается по мере удаления от дела и по мере продвижения процесса...»<sup>177</sup>. Не менее ехидно Гендельман вопрошал подсудимого второй группы К. А. Усова (заявившего еще на предварительном следствии, что он был на конспиративной явке в книжном магазине «Революционная Мысль», где член ЦК ПСР Д. Д. Донской в присутствии Усова, Семенова, Коноплевой и Иванова дал санкцию на убийство Ленина и Троцкого), сказавшего, что встреча произошла до отъезда Донского на Волгу, но отказывавшегося назвать более точное время этого свидания (многих уже поймали на неточностях): «...гр. Усов, я не буду допытываться, в какой месяц, в какой день, но скажите, по крайней мере, грубо, в какое время года»<sup>178</sup>.

Показание Усова приобрело очень большое значение, т. к. до этого о санкциях ЦК ПСР, Донского, Гоца сообщали только Семенов и Коноплева. На помощь Усову пришел Семенов, «вспомнивший», что эта встреча была в августе, хотя сам Семенов об этой встрече ни в брошюре, ни на предварительном следствии ГПУ, ни на следствии Верхтриба даже не упоминал (явный брак в работе Агранова и следователя Верхтриба Е. Ф. Розмирович). В ходе разбирательства выяснилось, что Донской уехал из Москвы не позже 14 июня (что подтверждено было даже почтовыми открытками), а приехал не ранее 20 августа. Также было выяснено, что сам Семенов приехал в Москву в июле, а потому не мог принимать участие во встрече до отъезда Донского на Волгу. Заявление Семенова, что встреча состоялась в августе, корректировало показание Усова (Усов поменял июнь на август) и, казалось бы, исправляло ситуа-

цию. Но тут обвиняемые первой группы заявили, что после восстания левых эсеров большевики разгромили заодно и эсеровские книжные магазины, в том числе и магазин «Революционная Мысль», помещение которого на Никитской улице было к тому же опечатано. Они потребовали вызвать свидетелей в суд, и трибунал пообещал запросить справку в ГПУ, и в этой справке, действительно, было подтверждено, что в июле 1918 г. после обыска и выемки магазин был опечатан (то, что архивные работники ГПУ дали правдивую справку, говорит, конечно, не об их шепетильности, а о полной несогласованности действий руководства ГПУ, не «отследившего» этот вопрос). На ехидный вопрос Гендельмана, как Усову удалось встречаться в Донском в опечатанном магазине, обвиняемые второй группы прямо со своих скамей стали говорить, что Усов перепутал магазины, и встреча могла происходить в другом эсеровском магазине «Дело народа», также находящемся на Никитской. Но выяснилось, что и этот магазин был закрыт в июле 1918 г. Любопытно, что Гендельман готов был допустить, что встреча Усова, Семенова, Коноплевой и Иванова с Донским произошла после приезда Донского 20 августа 1918 г. Но Усов в своем показании о том совещании говорил о спорах, на кого устроить покушение — на Ленина или Троцкого, а охота на Ленина в августе велась, как было ясно из всех показаний, как минимум три пятницы подряд (митинги были по пятницам)<sup>179</sup>.

Таких неувязок было много. Имел место и оговор невинных людей. Наиболее ярко и скандально это проявилось в истории с утверждением Семенова в брошюре, что убийца Володарского, рабочий-маляр Н. Сергеев (также бывший анархист), сразу после покушения скрывался «два дня в квартире Морачевского»<sup>180</sup>. Это обстоятельство Семенов подтвердил и на следствии Верхтриба. Ю. В. Морачевский был арестован и выведен на процесс, в ходе которого выяснилось, что Семенов в это время снимал в квартире Морачевского комнату, в которой без ведома хозяйина и прятал Сергеева. На процессе Семенов был вынужден признать утверждения Морачевского. М. Я. Гендельман в защитительной речи восклицал: «Пусть гр. Кон дает название этому поступку Семенова, которого он, кажется, очень защищает. Это чрезвычайно характерная деталь, как действовал Семенов. Как он действовал до убийства Урицкого, мы это видели, теперь мы видим, как он действовал после убийства Урицкого, создавая версии по поводу этого убийства и запутывая сюда возможно больше людей. Семенов объяснил это жалким, скажу более — постыдным образом — я, говорит, — не знал, я не юрист, как вы, гр. Гендельман и 15 лет не учился и я не знал, что если я скажу, что Сергеев скрывался у Морачевского, то его притянут... Так вот, граждане, для тех, кто желает судить беспристрастно, пусть все эти загадки здесь разъясняет и, может быть, можно будет установить, что имело место в действительности»<sup>181</sup>. В конце концов Морачевский был оправдан за недоказанность. Безусловно, весь этот эпизод свидетельствует, с одной стороны, о подлости Семенова, а с другой, о непрофессионализме следствия ГПУ и Верхтриба.

Терпя поражение в «уликовой борьбе», коммунисты попытались принизить успехи своих противников, подведя под них теоретическую базу. Защитник Коноплевой Членов сплел целую паутину размышлений по этому поводу: «Гражданин Гендельман защищает свою партию и, если интересы этой партии требуют, чтобы он доказывал, что белое — черное, а черное — белое, то он это и делает, и смешно его в этом упрекать. И, конечно, суд, состоящий из партийных людей, морального негодования по сему поводу испытывать не будет. Гражданин Гендельман

подходит к вопросу так: прежде всего он говорит, что Семенову и Коноплевой верить нельзя, и их показания доказательством не являются. Я спрашиваю, почему так? Можно не верить тому или иному лицу, дающему показания, на двух основаниях. Или, если может быть установлено, что своеобразная его физиономия, выявившаяся в целом ряде предшествующих фактов, заставляет предполагать, что когда, вообще, этот человек говорит, — он лжет, и тогда нужно относиться к нему с крайней осторожностью. Или можно поставить вопрос иначе и сказать: хотя данный человек вообще и при других обстоятельствах может и не лгать; но его позиция в данном процессе такова, что верить ему нельзя, что линия его защиты есть ложь. Если это будет доказано, тогда действительно показания данного лица все равно, является ли оно обвиняемым или свидетелем, не заслуживает доверия. <...> Предполагается, что свидетель в деле ничем не заинтересован, а подсудимый заинтересован и даже весьма. Свидетель отвечает за ложные показания, а относительно подсудимого закон прямо говорит, что он имеет право ничего не говорить и имеет право безнаказанно говорить неправду. <...>

<...> У нас в этом процессе есть целый ряд моментов, где один и тот же факт подтверждается и свидетелями, и показаниями тех или иных подсудимых второй группы, и показаниями тех или иных подсудимых первой группы. Такие факты можно считать, более или менее, установленными. Но вот у нас есть моменты, когда по одному и тому же вопросу имеются несогласимые и диаметрально противоположные показания одного обвиняемого первой группы и одного обвиняемого второй группы. <...> приходится поставить общий вопрос при таких вот условиях, если нет никаких дополнительных данных для решения вопроса, кому, в виде общего правила, можно больше верить в вопросе о терроре, — подсудимым первой группы или подсудимым второй группы? Вопрос не может ставиться так: где сидят более добродетельные, более честные люди? Так мы никогда ни до чего не договоримся, никакого масштаба не получим. <...> Есть общее соображение <...>: подсудимые первой группы являются компактным коллективом, сплоченным партийной дисциплиной и возглавляемым Центральным комитетом. В свое время Ц.К. и после убийства Володарского, и после покушения на Ленина заявил, что ни одна партийная организация не имеет отношения к означенным террористическим актам. <...> И поскольку Ц.К. вынужден поддерживать эти свои заявления, и подсудимые первой группы, именно как представители политической партии ими связаны, поскольку вся группа, чего не будут отрицать подсудимые 1-й группы, и на скамье подсудимых подчинена партийной дисциплине и руководящей власти ЦК, его руководящим указаниям, постольку они в этом вопросе правды вам говорить не будут. Поскольку они смотрят на вас как на суд своих врагов, постольку они вам правды говорить не обязаны. <...> Вся конструкция защитительной речи представителя 1-й группы по этому вопросу строилась на ловле обвиняемых 2-ой группы и целого ряда свидетелей на множестве мелких противоречий <...> а с другой стороны, эта речь строилась на том, что гражданин Гендельман, которому на судебном следствии помогли другие обвиняемые, устанавливал целый ряд противоречий между показаниями нашей группы обвиняемых сейчас и их показаниями на предварительном следствии. Мы ответить тем же самым не можем. Сплоченная группа, сидящая на первой скамье предсудительно не давала никаких показаний на предварительном следствии. Между показаниями отсутствующими и показаниями после долгого совместного размышления и по директивам ЦК, данными на судебном

следствии, конечно, никакого противоречия быть не может. <...> и если все-таки у них прорывались противоречия, то только потому, что по пословице — „шила в мешке не утаишь“, несмотря на хорошую организацию. <...> Можно утверждать, что члены партии на суде имеют право отрицать те факты, которые для партии невыгодны, и это вполне отвечает партийной дисциплине. <...> Тот, кто хочет быть порядочным членом партии, показывает не то, что было, а то, что нужно в интересах реабилитации и в интересах сохранения партии от разгрома со стороны ВЧК и Трибунала. Тот, кто переступил эти директивы и дает какие-нибудь показания о фактах, которые отрицаются ЦК, есть предатель, как здесь прямо было заявлено в лицо свидетелю Рейснеру. Великолепно. Если вы подходите с таким этическим мерилом, то тогда претендовать на то, чтобы Трибунал верил вашим показаниям, нельзя. Одно из двух: либо можно говорить неправду, либо нет. Я, например, не считал бы для себя возможным говорить неправду Трибуналу, но если бы было нужно, то я бы сказал какую угодно неправду в царском суде, и, вероятно, вы сделали бы так же, чтобы причинить царскому правительству какой-нибудь вред, но тогда мы бы не били себя в перси и не кричали: какое право вы имеете не верить нам, а верить каким-то ренегатам, которые перешли к коммунистам. Но „ренегатам“ нет расчета вводить в заблуждение нас, потому что они начинают свои показания с того, что возводят на себя всякие преступления, а граждане с первой скамьи проводят здесь определенную линию, что партия к террору не причастна. И поскольку я признаю, и вы должны признать, что с этической стороны они имеют право говорить неправду, постольку они вряд ли могут претендовать на то, чтобы их утверждения по данному вопросу принимались, как доказательства, постольку они противоречат другим показаниям»<sup>182</sup>.

В том же духе высказывался и защитник 2-й группы видный коммунист П. А. Шубин: «По вопросу о боевой работе вы видите здесь на суде чрезвычайно настойчивую, умелую, искусную, последовательную борьбу с правдой, — с фактической правдой, подчеркиваю я. Вы видите здесь на суде, как подсудимые все свое дарование, память, сообразительность, ловкость, даже пафос применяли для того, чтобы уходить от тех фактов, которые всплывали здесь. И вас не должно удивлять, почему в этой борьбе против улики подсудимые отказались от адвокатов. Для того чтобы защищать Иванову, отрицая фактическую правду и импровизируя тут же на суде соответствующую версию, нужно знать о ее деятельности не меньше, чем знает Гендельман. Для того чтобы защищать Гоца в этой области — в вопросе о терроре, чтобы вести его линию, отражая прорывающиеся в судебном следствии улики, нужно знать не меньше, чем знает сам Гоц. И кто бы ни защищал Ц.К. на суде, он тайну своей партии не мог доверить в вопросе о терроре.

<...> Не случайно то, что все написанное за границей под внимательной редакцией Чернова, который знает всю тайну этого дела, является сейчас самой тяжелой уликой против Ц.К. Это объясняется тем, что люди, сидевшие в стороне, не могли предвидеть, какие факты подсудимые вынуждены будут признать, что здесь будет доказано с несомненностью и где, следовательно, выступят те рифы, которые подсудимым, отрицающим правду, надо будет обходить, как придется между ними лавировать. И отказ от защиты в этом процессе, товарищи, есть не только политическая демонстрация со стороны Ц.К., но и определенный расчет. Здесь гр. Гендельман доказывал нам, что Иванов имеет право говорить неправду. <...> Если вы возьмете показания Ивановой на

предварительном следствии, которые здесь уже оглашались, вы увидите, что она четыре раза меняла свои показания по вопросу о партийности, об отношении к Советской власти и коммунизму, и вы должны спросить себя: как же это Иванова, старая каторжанка, носившая кандалы, и очень тяжелые — на рижской каторге, почему она это сделала. Чего она испугалась? Она испугалась — но не за себя, а за партию. Она знает, что в своем лице она несет тайну эсеровской партии в вопросе о терроре. Чтобы скрыть эту тайну, можно идти на все. Ей надо было отсрочить момент, когда успеет столкнуться, в каком направлении дать показание»<sup>183</sup>.

С. В. Членов попытался брак и непрофессионализм работы следствия ГПУ и Верхтриба, а также неспособность государственного обвинения, всего состава суда и защитников 2-й группы с их митинговыми речами справиться с ситуацией, спрятать за рассуждениями (весьма типичными для большевиков в это время) о том, как тяжело быть обвинителем и как легко быть обвиняемым (чекисты чуть позже по этой же логике жаловались, как плохо ведут себя в тюрьме «цекисты», которых якобы кормят как нэпманов, не желающие понимать, насколько тяжела работа тюремщиков, и почему-то считающие их палачами). Более того, он заявил: «Можно быть разного мнения о следственных способностях ВЧК, но думаю, что в 1922 году, после 4-х лет практики, если бы она хотела сочинить инспирированный процесс, и если бы все эти граждане были бы в этом направлении их орудием, то здесь сочинили бы так, что не было бы дешевых триумфов Гендельмана и Лихача по поводу противоречий, а все было бы так чисто, что комар носа не подточит... противоречие было и остается, потому что никакого процесса не сочиняли, каждый говорил правду так, как помнил. Вот откуда противоречия создались и именно в них лучшее доказательство того, что дело было так, как оно представлено здесь»<sup>184</sup>. Представляется, что указание Членова на 4-летний опыт ВЧК, который позволил бы инспирировать процесс так, что даже на гласном процессе «комар носа не подточил» бы, критики не выдерживает. В том-то и дело, что не было необходимости у следователей ВЧК работать так чисто, чтобы их обвинения не рассыпались на настоящих гласных процессах (с состязательностью сторон, с квалифицированными адвокатами, с освещением в прессе и т. п.), по причине отсутствия таковых. Не было опыта у чекистов и следователей и судей Верхтриба работать «чисто», и в этом они очень серьезно уступали жандармам и прокурорам царского времени.

Гендельман в своей защитительной речи и репликах на завершающей стадии суда так говорил об уликовой стороне обвинения: «Там было только освещение внутренней причинной связи событий и их смысла, и я этим доказывал, как нелепо была построена вся обвинительная версия. Вот повод нашего преимущества перед обвинением, и я должен сказать, что наше преимущество заключается исключительно в недоброкачественности вашего материала»<sup>185</sup>. И далее Гендельман подчеркивал, что обращается к подробному анализу обстоятельств и улик вовсе не потому, что опасается политической стороны суда: «Я должен сказать, что мало весело было для меня заниматься всеми этими пререканиями и разбором всех улик... Гораздо охотнее здесь я последовал бы примеру Луначарского, Бухарина и т. д., так как по существу здесь идет политический спор, гораздо приятнее было бы заняться другим делом, действительно дать политический бой, поднять эту перчатку граждан Луначарского, Покровского, Бухарина и др.»<sup>186</sup>.

Безусловно, ответить на политическую речь такой же речью для членов эсеровского ЦК, среди которых были и неплохие ораторы, было бы и проще и приятнее, чем ловить обвинение на лжи и фальсификациях. Но в том-то и дело, что они повели себя более адекватно, что и позволило им легко противостоять речам Луначарского, Бухарина, Покровского. Впрочем, «теоретическую речь» сделала из своей защитительной речи Е. М. Ратнер, да и другие эсеры не упускали случая ответить на выпады своих врагов.

Но было бы совершенно неверным видеть противостояние обвинения и подсудимых только в черно-белых тонах. Обвинение, безусловно, нащупало ряд слабых мест в защите эсеров и доставляло им немало поводов для беспокойства. Интересные выводы можно сделать из разговоров подсудимых 1-й группы, которые подслушивались чекистами, переодетыми в красноармейцев охраны. Очень важным для понимания позиции подсудимых 1-й группы представляется разговор между Е. М. Ратнер и Л. Я. Герштейном, который 3 августа был подслушан чекистом, наблюдавшим за Е. М. Ратнер: «После свидания, она разговаривала с Герштейном. Герштейн: „В последнем слове я хочу осветить всю свою революционную деятельность с самых ранних лет“. На это Ратнер ответила: „Много будет для них чести“. На что Герштейн ответил: „Я не для них, а чтобы отчитаться перед партией“. Ратнер ответила, что: „Отчет мы дадим на съезде своей партии“»<sup>187</sup>.

Весьма характерны несколько следующих донесений. 15 июня агент «Резвый», наблюдавший за Лихачем сообщил: «В обеденный перерыв, уходя из залы суда арестованный Утгоф обратился к гр. Лихачу со следующим: не представится ли возможности подпутать Ефимова к Совнаркому. Лихач ответил, что это приписать ему нельзя, ибо Ефимов приехал в апреле месяце»<sup>188</sup>. Наблюдавший за Гоцем чекист в сводке № 7 за 7 июля сообщал: «В обеденный перерыв Гоц в сухом и сердитом тоне набросился на Тимофеева, указывая ему, что по вопросу о терроре против Колчака и Деникина Тимофеев „промазал“. Затем к разговору присоединился Морозов и разговаривали шепотом <...>»<sup>189</sup>.

Начальник этого особого караула В. Г. Бодеско в донесении за 6 июля привел свой разговор с Е. М. Ратнер: «Характерно, что сегодня в своем объяснении Евг. Ратнер говорила, что она как член ЦК ПСР санкционировала действие террористической группы против личности Краснова, а вчера вечером, когда тов. Крыленко допрашивал свидетеля Гельфгота относительно санкции той же группы (террористической), то она говорила мне „Какой абсурд, там ведь было около ста генералов и мы знали великолепно, что на место Краснова найдутся десятки других, мы санкции не давали, это только большевистская голова Крыленко воспринимает“. Я ей ответил смехом»<sup>190</sup>.

В. Г. Бодеско старательно фиксировал и настроение подсудимых, как, например, в сводке за 20 июля: «Настроение среди обвиняемых по-прежнему серьезное, особенно тяжелое настроение было у них во время допроса обвиняемого Пелевина, который прибыл как больной и на которого они рассчитывали, что он покажет все только в их пользу. Когда председатель предложил Пелевину сестру на место защитника Кона, Гендельман бросил фразу „Я хотел бы Кона видеть на месте Пелевина“»<sup>191</sup>. 29 июля он писал: «Настроение обвиняемых за последние три дня с начала речи обвинения подавленное, они почти не говорят между собой в зале заседания и всецело настороженные. Они уделяют особое внимание речи тов. Крыленко. В разговоре с Гоцем, Тимофеевым и Гендельманом я получил ответ на квалификацию речи обвинителей след. — “Луначарский—

Покровский—Цеткин, хотя их речи довольно серьезные и имеют историческое значение, но нам не трудно справиться с ними, речь Бокани и Муна не имеют никакого значения, но речь Крыленко это самый опасный враг и вряд ли удастся нам опровергать его в целом, ибо он имеет преимущество, что он может при помощи секретаря и других лиц подобрать материал и систематизировать его так, как ему угодно“. Кроме того, они говорят, что тов. Крыленко, несомненно, один из самых талантливых прокуроров и адвокатов России (выделено нами. — К. М.)»<sup>192</sup>.

Н. Н. Иванов в своем последнем слове возражал Членову и Шубину: «Гражданином Шубиным, вслед за гражданином Членовым здесь было обращено внимание на то, как давали показание некоторые из обвиняемых на предварительном следствии. Делалось это гражданином Членовым для того, чтобы подорвать доверие к показаниям, данным на суде, моей сестрой. Тут Гендельман возражал достаточно, возразил он и на это сопоставление. Обвинять человека, арестованного и живущего нелегально, в том, что он назвался чужой фамилией, под которой жил, обвинять его в том, что он не признал, что принадлежит к партии, когда он скрывается в течение 3-х лет, было крайне странно. Если бы кто-нибудь из нас, арестованный по своей фамилии, обвиняемый по этому делу здесь сказал, что он беспартийный, это было бы ложью, которой Вы могли бы опорочить наше показание. Но таких актов Вы в нашем следственном производстве не найдете <...>»<sup>193</sup>

Жена Д. Д. Донского Наталья Михайловна, присутствовавшая на процессе, так вспоминала об атмосфере процесса много лет спустя: «Обвинения были тяжкие. Шла ожесточенная борьба за власть, и сейчас ясно, что правда была на стороне большевиков. Дмитрий Дмитриевич сказал мне тогда: „Этот процесс — осиноый кол, вбитый в могилу партии социал-революционеров“. Его положение на процессе было трудным: он уже не разделял прежних взглядов, но из чувства солидарности с товарищами не мог заявить об этом, не мог не понести с ними единой ответственности.

Обвиняемые резко защищали свои позиции. Как-то при свидании лидера эсеров А. Р. Гоца и председателя процесса Ю. Пятакова последний спросил: „Разве вы не понимаете, что ваши резкие выступления повлияют на приговор?“. Подсудимый ответил: „Наша судьба не может иметь значения для наших выступлений“. Очень резко и прямолинейно обвинял Н. В. Крыленко, требуя высшей меры. А речь общественного обвинителя А. В. Луначарского привела своей логикой и формой в восторг обвиняемых. От группы Семенова, как я уже отмечала, выступал Н. И. Бухарин. Кто бы тогда мог подумать, что через 15 лет и Крыленко, и Пятаков, и Бухарин сами будут обвинены?

Очень резок в обвинительной речи был Ф. Я. Кон — седой, с резким голосом. После его речи выступал Е. М. Тимофеев. Он стоял бледный, говорил тихо, прерывающимся голосом. „Помнит ли Феликс Кон годы, когда он вместе с моим отцом был на Каре? Как он держал меня на руках?“, — вопрошал подсудимый. А затем стал возражать на его обвинения. Зал слушал в полной тишине. Выступала и Клара Цеткин. Громким голосом, по-немецки, она громила обвиняемых. Седые волосы развевались, руки были сжаты в кулаки. Один из обвиняемых ответил ей, что она напоминает старуху в поэме о Яне Гусе, что пришла подбросить несколько прутиков в костер у его ног <...>»<sup>194</sup>

Вообще необходимо отметить, что мужество обвиняемых 1-й группы и на предварительном следствии, и на самом суде проявлялось много-

кратно и довольно ярко. Так, например, на одном из июньских заседаний Е. М. Тимофеев заявлял, обращаясь к своим обвинителям: «С Вами непримиримы. В этом — наша гордость и этой позиции мы не уступим и не отступимся от нашего права вооруженной борьбы. От этого мы не откажемся и не можем отказаться»<sup>195</sup>.

Чекист, наблюдавший за Гоцем, докладывал 4 августа 1922 г.: «По прибытии в Дом Союзов в камеру подсудимых шел с Морозовым, где отдельно от других о чем-то переговорил, а затем говорил с Тимофеевым, Ратнер, Лихачом и др. После окончания своей речи — **встретился с тов. Крыленко, который спросил Гоца, неужели они все еще по-старому, на что Гоц ответил утвердительно** (выделено нами. — К. М.) и, подымаясь по лестнице, сообщил о своем разговоре с Крыленко Гендельману и др. Как видно, Гоц своей речью был очень рад, так как в камере был очень весел и со всеми говорил. После 10 мин. перерыва пошел на трибуну, где, пробыв недолго, ушел в камеру, где были Лихач и Тимофеев, с которыми он вступил в разговор. Что говорили, неизвестно, но из разговора, который после опять возобновился, удалось услышать предположение Гоца об окончании процесса, а также насмешки Гоца по адресу т.т. Крыленко и Покровского. Во время обеденного перерыва говорил почти со всеми, так как подходил то к одному, то к другому»<sup>196</sup>.

24 декабря 1923 г. Г. Л. Горьков-Добролюбов, уже находясь в ссылке в Царицыне, писал: «<...> упомяну лишь только, да то вскользь, об одном эпизоде из нашего процесса — это о нашем совещании накануне приговора. Совещание это поистине было историческое и публике оно до сих пор неизвестно. Но (одно слово неразобрано. — К. М.) таки я не имею возможности говорить о всех обсуждениях и решениях на этом совещании. Об одном только нашем решении могу сказать, а именно: идти на расстрел спокойно и молча, без демонстрации, отдав таким образом последний свой революционный долг»<sup>197</sup>. Но, безусловно, лучшее представление о мужественности подсудимых дают их последние слова (об этом см. ниже).

Характерно, что даже видные большевики еще в ходе процесса или по его горячим следам не могли не признать за обвиняемыми 1-й группы стойкости и преданности своим идеалам. Одни это делали как бы походя, с высоты своего тогдашнего положения. «Быть может, некоторые из них (обвиняемые группы „22-х“) находят свое утешение в том, что когда-нибудь летописец будет о них или об их поведении на суде отзываться с похвалой», — отметил в своей обвинительной речи Крыленко<sup>198</sup>. Прошло, однако, не так много времени, и в одной из своих публикаций 1924 г. Покровский, выступавший на суде со стороны обвинения, так сказал о них: «Люди, несомненно[,] храбрые. Мы их судили. Я выступал в качестве прокурора и могу сказать совершенно объективно, что они держались на процессе великолепно, хотя на 90% им угрожал расстрел... Личное мужество? Оно было у эсеров в достаточной степени»<sup>199</sup>.

Важно, что многие из них и их родственники были уверены в возможности скорой смерти, как это видно из подслушанных чекистами разговоров в конце процесса. Разведчик «Р № 96» доносил: «Потом Тимофеев говорит, им, сволочам, нас хочется расстрелять, я говорю: что? всех? Он говорит, что нет. Предполагаем на семь человек вынесут приговор, но мы подадим заявление, чтобы всех расстреляли и вот они примут это заявление и приведут в исполнение — то это для них очень плохо, что тогда за границей будет бунт и от советской власти все рабочие откажутся»<sup>200</sup>.

В общей агентурной сводке за 27 июля 1922 г. сообщалось «К 12 час. родственники собрались в фойе Дома Союзов. „Кремень“ подошел к „Брюнетке“ и показал ей какую-то книжку. „Утка“ очень была взволнована, когда она увидела, что к началу процесса собирается очень много публики, как она выразилась „коммунистическая публика“. <...> „Утка“ сидит, как мертвая, ни с кем не говорит, но все время переглядывается с мужем (Гоцем), который ей в ответ только жмет плечами»<sup>201</sup>.

5 августа 1922 г. сообщалось: «Настроение арестованных весьма похоронное у всех, но Лихач даже поделился с часовыми своими переживаниями, сказавши: „ну теперь наше дело кончено и начинается Ваше: пуля в затылок и готово“. Затем добавил: „мне 34 года, пожил довольно“». 7 августа помощник начальника СО ГПУ Т. Д. Дерibas сообщил о свидании с близкими: «Все родственники плакали. Они убеждены, что части подсудимых не миновать расстрела».

Н. М. Донская так вспоминала о вынесении приговора: «И вот — приговор. Обвинения по четырем статьям, каждая из которых влечет высшую меру наказания. А затем вдруг странная оговорка: „Если приговор не будет приведен в исполнение, то 5 лет тюрьмы с зачетом предварительного заключения и затем 3 года ссылки и поражение в правах“. Мы слушали приговор стоя. Никто из нас не проронил ни слезинки, держали себя в руках. Только зарыдала жена одного из группы Семенова, хотя к ним не была применена высшая мера. Обвиняемых увели. При выходе из зала приговоренным к высшей мере давали команду „Налево!“, остальным — „Направо!“». А мы стояли ошеломленные. К нам подбегали знакомые люди, корреспонденты, жали руки, поздравляли... Через три дня появилось постановление: „Если партия социал-революционеров не будет предпринимать выступлений против Советской власти, приговор не будет применен“»<sup>202</sup>.

И завершим мы параграф рассказом о суде над последним участником и «тринадцатым смертником» процесса с.-р. В. Н. Рихтером. Понимая, что все предрешено, и не желая участвовать в дешевом спектакле, за несколько дней до суда над собой В. Н. Рихтер заявил о своем отказе являться на него, потребовав «слушать дело без него», что и было зафиксировано в протоколе № 58 от 27 июня 1923 г.<sup>203</sup> 4 июля 1923 г. Судебная коллегия Верховного суда РСФСР в составе председателя Немцова и членов суда Чельшева и Бенякова постановила считать доказанными «преступные деяния» В. Н. Рихтера, заключавшиеся в участии в «организации, ставящей себе целью свержение Советской власти, путем вооруженных выступлений и вторжения на территорию вооруженных отрядов и банд, а равно <...> в ряде попыток захвата власти в центре и на местах, насильственного расторжения договоров, заключенных Р.С.Ф. С.Р. и отторжения от Республики некоторых частей ее», т. е. эсеровской партии, а также в руководстве боевой группой и организации «покушения на товарища Ленина в 1918 году», и приговорил его к высшей мере наказания — расстрелу. 65 лет спустя в заключении Генеральной прокуратуры, рассматривавшей этот приговор, констатировалось: «На следствии Рихтер от показаний отказался. В судебном заседании он также не допрашивался. Свидетели не допрошены. Из приговора суда не видно, какие доказательства послужили основанием к признанию Рихтера виновным в совершении контрреволюционного преступления».

Впрочем, как и двенадцати его товарищам, приговоренным к высшей мере наказания и переведенным фактически в разряд заложников, В. Н. Рихтеру смертная казнь решением Президиума ВЦИК от 18 сентя-

бря 1923 г. была заменена «десятью годами лишения свободы с зачетом предварительного заключения, со строгой изоляцией и поражением прав на пять лет». Ни приговор, ни решение Президиума ВЦИК не стали известны его товарищам на воле, не попали в эсеровские газеты, не были зафиксированы историками. Чекисты не присоединили Рихтера к двадцати двум его товарищам, осужденным по процессу 1922 г., а отправили в странствие по различным политизоляторам страны. Это сыграло с его судьбой злую шутку, ибо все остальные «смертники», поставленные в условия сурового режима, который они сравнивали его с карцерным содержанием каторжных централов царского времени, вели тяжелую борьбу за политрежим и в конечном счете вынудили чекистов и Политбюро, уставших от скандалов и протестов западных социалистов по этому поводу, существенно сократить всем срок, и всех «смертников» отправили в ссылки в 1925—1926 гг., тогда как В. Н. Рихтер отсидел из своих десяти — около девяти лет, подорвавших его здоровье. Но похоже, что в отличие от других осужденных по процессу, ему даже не все время предыдущего сидения зачли (его товарищам засчитывали даже кратковременные отсидки времен гражданской войны), а только время предварительного следствия (согласно приговору). Ведь В. Н. Рихтер в Одессе просидел больше года и год после ареста в сентябре 1922 г. до вынесения приговора. Объяснение этому неравенству очевидно: решение о зачете предыдущих отсидок (и сокращении сроков заключения) его товарищам было принято Постановлением Президиума ВЦИК в январе 1924 г. по ходатайству чекистов после самоубийства С.В. Морозова и ожесточенных голодовок остальных заключенных, боровшихся за смягчение тюремного режима.

Обращает на себя внимание и тот факт, что если в 1922 г. постановление Президиумом ВЦИК было принято на следующий день после приговора (но больше месяца не сообщалось Верхтрибом заключенным), то в 1923 г. разрыв между приговором и постановлением Верхтриба составил почти два с половиной месяца. И сколько еще времени прошло до ознакомления приговоренного с этим постановлением... И все это время В. Н. Рихтер ожидал приведения в исполнение смертного приговора.

Несмотря на строжайшую изоляцию друг от друга и от внешнего мира, товарищи Рихтера по партии и по ЦК интересовались приговором суда над ним. Это видно из перехваченной надзирателями летом 1923 г. тюремной записки, которыми заключенные эсеры обменивались, пытаясь преодолеть изоляцию<sup>204</sup>.

#### **§ 4. «...ДВЕ ТЫСЯЧИ ОБВИНИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ СИДЯТ В ЗАЛЕ»: РОЛЬ И ПОВЕДЕНИЕ ПУБЛИКИ В ЗАЛЕ СУДА**

Организация «всенародного осуждения» эсеров была важна для властей не только вне суда, но и в его стенах. Невозможность отказаться от проведения открытого судебного процесса и, одновременно, желание избежать проблем, неизбежно возникающих при гласном процессе, заставили власть особо озаботиться подбором публики. 3 июня 1922 г. на заседании «центральной тройки», на котором помимо Л. Д. Троцкого и Л. Б. Каменева, присутствовали также Г. Л. Пятаков, Н. В. Крыленко, Б. Ф. Малкин и И. С. Уншлихт, была принята следующая резолюция: «Предложить МК обратить усиленное внимание: 1) на состав аудитории при суде и 2) на то, что все места, предоставленные МК, должны быть действительно заполнены. Меры к выполнению этих директив можно

возложить на созданные в каждом районе двойки или тройки, которые следили бы за тем, чтобы билеты не передавались и чтобы билеты действительно использовались каждый день. Передача билетов в обывательские руки должна подвергаться строжайшей партийной каре. При МК должен состоять один ответственный товарищ, который наблюдал бы за проведением этих директив по районам. Тов. Малкину договориться с МК об организации и способах проверки»<sup>205</sup>.

Насколько серьезно относились к проблеме заполнения зала власти и какой ажиотаж возник вокруг дележки билетов, ярко демонстрирует несколько эпизодов. Во-первых, сразу было определено, что будет создана определенная иерархия входных билетов, подчеркивающая статус их владельцев и дающая им разную свободу передвижения внутри зала. Так, «особая» (техническая) тройка в конце мая планировала использовать входные билеты разного цвета. В черновом варианте «Плана организации судебного процесса по делу с.-р.», рожденного в недрах этой комиссии, значилось: «Билеты отпечатать трех цветов (число зачеркнуто. — *К. М.*), а именно: 1) в партере нумерованные синего цвета; 2) нижние боковые зеленого и 3) на балконе белого цвета. Для обслуживающего технического персонала изготовить особые билеты с проходом всюду. Для ответственных работников выдавать билеты в первых рядах партера с двумя печатями, с которыми проход всюду обеспечен»<sup>206</sup>.

От руки на этом документе было дописано: «А на трибуну? В правую и левую? Выяснить срок годности: день, два... все время процесса. Защитники: 1) Иностранцы защ. — желтый. 2) Обвинители — проход всюду — красный. 3) В. отв. т-щи — прав. ложа — красный. 4) Корресподентура — левая ложа — красный. Печать на билетах ставится исключительно Верхтриба ВЦИК. На трибуну никто не пропускается из публики»<sup>207</sup>. Обращает на себя внимание тот факт, что даже решая вопрос об удобстве работы охраны процесса с пропусками, чекисты не удержались от политического намека, решив билеты защитников сделать желтого цвета.

Впрочем, Комиссия по распределению билетов, или, как ее еще называли — «Билетная тройка» (присутствовали, правда, на ее заседаниях не трое, а четверо — Дерibas, Иконников, Малкин, Шиманкевич), вскоре после начала процесса решила заменить билеты во избежание подделок и проникновения в Дом Союзов посторонних. Протокол комиссии по распределению билетов от 18 июня 1922 г. гласил: «1. О замене билетов 1. а) Ввести новую форму билетов с 27 июня. в) Постоянные и билеты „пропускать всюду“, настоящей замене не подлежат»<sup>208</sup>. О печатании билетов тогда же было решено: «а) Поручить тов. Дерibas заказать в типографии ГПУ 1 600 билетов с № 1 по 1 600. в) билеты печатать двух цветов, хоры (синие) и партер (красные). г) Билеты распределяются 300 хоры, 1200 партер и 100 партер и хоры запасной фонд. Распределение билетов производить на старых основаниях»<sup>209</sup>.

Шиманкевич сообщал, что «тов. Пятаков предлагает: 1. Проставить № мест и рядов; (рукой Дерibasа вписано — исполнено. — *К. М.*) 2. Установить свой цвет на каждый ряд. (рукой Дерibasа вписано — «немисливо: иметь 30 разных цветов трудно по нашим временам». — *К. М.*)»<sup>210</sup>.

Но проблема для чекистов пришла совсем с другой стороны. 19 июля в рапорте на имя Самсонова Шиманкевич писал: «При ознакомлении со вновь изготовленными, под руководством тов. Рябинына, билетами я заметил, что на большинстве билетов, по небрежности лиц, ставивших на них печать и гриф моей подписи, печати или гриф отсутствуют, а многие поставлены настолько небрежно, что разобрать, какая там поставлена

печатать или чья фигурирует подпись — совершенно невозможно»<sup>211</sup>. Шиманкевич подтвердил охране старый свой приказ с размытыми печатями и подписями не пускать и вызвал к себе Рябинина, предложив ему «принять меры к немедленному исправлению штемпелевки билетов, указав на недостаточный досмотр с его стороны, вследствие чего неминуем скандал и вполне возможно проникновение в здание суда к.-р. элементов, так как билет сам по себе может быть изготовлен в любой типографии», а также дал распоряжение состоящему при нем для поручений Глебову «лично присутствовать»<sup>212</sup>.

Любопытен рапорт трех помощников коменданта процесса ПСР своему начальнику от 15 июня, где они писали: «Во избежание в дальнейшем прецедентов, имевших место сегодня 15 июня, когда тов. Пятаковым было приказано арестовать тов. Кушина (один из помощников коменданта процесса. — К. М.) и часового поста № 13 за пропуск публики в зал заседания во время хода процесса, просим Вашего распоряжения деж. пом. по комендатуре под отчет и под его личную ответственность ежедневно 100 дневных билетов на предмет выдачи таковых в исключительных случаях лицам, коим разрешено присутствовать на процессе без билетов, т. к. в противном случае деж. помощнику придется исполнять обязанности выводных и тем самым отвлекаться от исполнения своих непосредственных обязанностей»<sup>213</sup>. Шиманкевич наложил резолюцию: «Не возражаю. Введите в употребление трибунальские пропуска».

Как стали выглядеть все билеты в окончательном виде, сказать трудно, так как только часть из них отложилась в «Деле комендатуры Верхтриба», но по сравнению с первоначальным проектом появились новшества. Так, например, появился пропуск для родственников обвиняемых, резко отличающийся по своему внешнему виду от других пропусков, отпечатанных типографским способом на плотной, хорошего качества бумаге. Пропуск для родственников был напечатан на машинке на четвертушках листа писчей бумаги желтоватого цвета и имел следующий текст: «Верховный трибунал при ВЦИК. Без права передачи. Билет № Выдан родственнику подсудимого Гражданину Июля 1922 года Комендант». От руки вписывался номер билета, фамилия осужденного и фамилия его родственника, ставилась печать комендатуры Верхтриба и факсимиле коменданта процесса Шиманкевича. В деле отложились два не востребовавшихся билета — № 38 жены Львова Надежды Александровны Аверкиевой (арестованная в сентябре 1921 г. на одном из свиданий с ним при попытке передачи письма, она во время процесса продолжала находиться в заключении во Внутренней тюрьме ГПУ)<sup>214</sup> и родственницы Горькова — О. П. Богословской<sup>215</sup>.

Процесс, оказавшись в течение нескольких месяцев в поле зрения всей прессы и общественного внимания, стал явлением «светской» жизни формирующейся партийно-советской номенклатуры, и как магнитом потянул желающих фактом своего присутствия на процессе показать свою значимость. Несмотря на то что вместимость специально для процесса перепланированного Колонного зала Дома Союза составляла от 1,5 до 2 тыс. человек (по оценкам различных источников), билеты на процесс стали дефицитом и попасть на него было крайне трудно (а от этого еще более престижно).

Комиссия по распределению билетов была завалена большим количеством заявлений самых различных должностных лиц, требовавших билетов, билетов и еще раз билетов. Начнем с того, что главный «герой»

2-й группы подсудимых Г. И. Семенов потребовал 10 билетов. Кроме матери, жены, брата жены, друга детства, дальней родственницы, о пятерых претендентах, кроме того, что они коммунисты и комсомольцы, ничего не говорилось. Об их профессиональной деятельности отчасти (как и о том, как Семенов во чтобы то ни стало пытался заполучить эти десять вожелденных билетов) можно судить по тому факту, что список был заверен ни кем иным, как ...начальником Разведуправления Реввоенсовета Зейботом<sup>216</sup>. В свете того, что и до процесса и на самом процессе в адрес Семенова звучали обвинения, что он сделал свои разоблачения по заданию спецслужб, подобная подпись выглядела весьма занимательно (хотя, как мы уже отмечали, вопрос о «ведомственной принадлежности» Семенова, несмотря на его нахождение в штате разведупра (и его жены, кстати) и «командировку» в 1920 г. в Польшу с диверсионными целями, оказался неоднозначным — ГРУ Генштаба Министерства обороны СССР в своей справке 1957 г. отмечало, что в 1919—1921 гг. он работал по линии ГПУ<sup>217</sup>).

Подсудимый 2-й группы Дашевский был несколько скромнее — он просил семь билетов<sup>218</sup>. Но все рекорды побил родной брат Евгении Ратнер — Григорий, лидер 2-й группы обвиняемых. Его заявление в Верхтриб гласило: «Прошу выдать для моих родственников и друзей (рабочих-коммунистов ж. дорог) 30 билетов на процесс партии с.-р.»<sup>219</sup>. Несмотря на свои «заслуги» перед организаторами процесса он получил решительный отказ, что заставило сократить его свои аппетиты до шести билетов, уже только для родственников<sup>220</sup>.

Удивительно, но на процесс эсеров ходили даже экскурсии, что видно, скажем, по одному из документов, озаглавленному «Список экскурсий» с 25 фамилиями и вписанными против каждой фамилии номером пропуска<sup>221</sup>. За «смоленскую экскурсию РКСМ» в 70 человек 28 июля просил ЦК РКСМ<sup>222</sup>. В заявлении в МК РКСМ «ответственный руководитель экскурсии» так объяснил ее необходимость: «Основной контингент экскурсии рабочая молодежь. До 50% составляют члены РКП. Значительно количество активных работников организации, как-то: Члены Губкома, Райкомов и пр. Экскурсия обращается в МК с просьбой организовать посещения экскурсий процесса эсеров. Процесс несомненно является центральным пунктом Московской жизни, на котором сосредотачивается внимание экскурсантов. Получить представление о нем — значит распространить основное его содержание по всей губернии. Вместе с тем и для самих экскурсантов посещение процесса принесет колоссальную пользу в смысле ознакомления и с внутренней (так в тексте. — К. М.) и внешним положением Республики»<sup>223</sup>.

Билеты просили все: студенты Университета имени Я. М. Свердлова<sup>224</sup>, Управделами ЦК союза работников железнодорожного и водного транспорта<sup>225</sup>, 147 участников московской губ. конференции работников коммунального хозяйства<sup>226</sup>, слушатели рабфака I МГУ<sup>227</sup>, студенты Академии социального воспитания<sup>228</sup>, 25 рабочих управления московской таможни<sup>229</sup>, местком сотрудников Московского отделения Мосгубсоюза Рабоче-крестьянских потребительских обществ<sup>230</sup>, слушатели рабочего факультета им. М. Н. Покровского<sup>231</sup>, красноармейцы «Первого красноармейского коммунистического госпиталя (бывш. генеральный военный госпиталь)»<sup>232</sup>, 50 курсантов 1-й Сов. Объединенной Военной школы имени ВЦИК<sup>233</sup>, управделами ЦК РКП(б)<sup>234</sup>. Очень много было заявок от студентов и слушателей рабфаков московских вузов — среди прочих они абсолютно преобладали.

Но настоящим апофеозом и одновременно фарсом всей этой «ярмарки тщеславия по-советски», стала история, живо показавшая, что «работники прилавка» в условиях дефицита творили чудеса по добыванию всевозможных «билетиков» отнюдь не только в 70—80-е гг., но уже в 1922 г., обскакав в этом даже чекистов, казалось бы, творцов и организаторов всего процесса (чего последние стерпеть не смогли). 2 мая 1922 г. (т. е. более чем за месяц до начала процесса) начальник 8-го Спецотделения СО ГПУ М. Бренер оправил в «Комиссию по распределению билетов на процесс ПСР» заявление, где весьма эмоционально восклицал: «В то время как сотрудники СО ГПУ не получили еще билетов на процесс ПСР, которые имеют для них не только общий интерес, вчера мне передал Председатель Месткома от Универсального магазина Мосторга (б. Мюр Мюрилиз) (впоследствии знаменитый ЦУМ. — К. М.) т. Лайхтер (член РКП с 18 г.), что много билетов имеются уже на руках у каких-то советских барышень, никакого отношения не имеющих не только к фабрично-заводскому элементу, но к политической жизни, распространяться об этом как о явно недопустимом факте не приходится. За сотрудниками ГПУ должно быть забронировано справедливое количество билетов, на которое они имеют право рассчитывать с любой точки зрения (выделено нами. — К. М.)»<sup>235</sup>.

Через пару недель начальник 8-го Спецотделения СО ГПУ М. Бренер был включен в состав одной из «троек» ГПУ, созданных для обслуживания процесса, решавшей помимо других также и вопросы о принципах распределения билетов. Таким образом, можно констатировать, что на данном историческом отрезке советской истории спор между чекистами и «работниками прилавка» был решен в пользу первых, первоначально установивших для себя долю билетов в 40%. Так, на заседании «особой тройки» ГПУ 13 мая 1922 г., когда было решено детально разработать план распределения билетов, отмечалось, что необходимо «придерживаться принципа, положенного в основу при распределении билетов на партийные съезды. Техтройке надлежит обратить особое внимание на состав аудитории в зале суда, которая должна быть исключительно коммунистической»<sup>236</sup>. В конце мая 1922 г. решениями «особой тройки» ГПУ была определена и пропорция в выдаче пригласительных билетов на процесс: 60% билетов распространял МК РКП(б), 40% (позже было сокращено до 30%) — ГПУ. Впрочем из доли ГПУ выдавались билеты также «родственникам обвиняемых, корреспондентам, техническому персоналу Верхтриба и представителям Наркоматов»<sup>237</sup>.

Анализ стенограмм процесса позволяет сделать вывод о том, что публика играла большую роль во время проведения суда. Она криками и свистом прерывала речи обвиняемых 1-й группы, порой заглушая их слова. Дело доходило до курьезов: несколько раз последние на выкрики зала «Долой!» и «Вон их отсюда!» не без сарказма отвечали, что находятся здесь не по своей воле. Встречая аплодисментами выступления обвиняемых и защитников 2-й группы, а также речи обвинителей, публика всячески поддерживала эсеров-ренегатов, создавая для них благоприятный психологический климат. Несколько остро обвиняемые 1-й группы чувствовали психологическое давление весьма недоброжелательного к ним огромного зала Дома Союзов, позволяют понять слова Е. Ратнер по поводу 12-часового режима работы. Отвечая Крыленко, она заявила: «Работа по содержанию заключенных очень тяжела, но быть заключенным в тюрьме еще тяжелее, и мы просим суд считаться с нашим психологическим и физическим состоянием. Лишенные всяких впечатлений в течение многих лет, мы не можем сразу привыкнуть к тому, что здесь происходит, и нам

нужен довольно длительный промежуток времени, когда мы сумеем работать так интенсивно, как мы должны, а мы должны работать очень интенсивно, потому что нас 22 человека, и нам противостоит обвинение напротив, обвинение в лице суда, обвинение на скамье подсудимых и две тысячи обвинителей, которые сидят в зале (протестующий шум в зале)»<sup>238</sup>.

Шум в зале иногда мешал стенографистам записывать речи выступающих, и стенограммы процесса фиксировали их не полностью. Председатель суда Пятаков неоднократно делал замечания публике, напоминая о недопустимости аплодисментов и свиста. Ему удалось в течение первых двух дней поддерживать тишину в зале, но потом вновь стали раздаваться аплодисменты, что Пятаков объяснил ротацией зрителей. Первая группа обвиняемых и их защита были вынуждены мириться с агрессивной залой, хотя время от времени требовали от председателя суда обуздать публику. Подсудимые 1-й группы, безусловно, остро ощущали в зале присутствие двух тысяч недоброжелательно и прямо агрессивно настроенных к ним людей и иногда срывались и бросали в зал гневные тирады. Какие любопытные коллизии разворачивались в этой ситуации, видно из следующего эпизода. 16 июня 1922 г. Крыленко после допроса Коноплевой попросил Гоца прокомментировать факт прошупывания умонастроения просоветски настроенного генерала Парского. К этому моменту Пятаков был вынужден отметить, что публика «систематически сегодня мешает ведению дела», и напомнить: «Здесь только присутствуют и слушают, но не участвуют»<sup>239</sup>. После ответа Гоца о его заинтересованности узнать умонастроение Парского с целью привлечения к «делу воссоздания Восточного фронта действительно дельного и республикански настроенного генерала» внезапно вспыхнул конфликт. После того как Крыленко квалифицировал это как «склонение к государственной измене», Гоц, отвечая ему, эмоционально воскликнул, что если кто и является государственным изменником и предателем России — то это тот, кто предавал революцию, а следовательно «...это Вы, а не мы, вы предатели России, (в публике шум, крик и свист). Это мой ответ вам и всем тем крикунам, крики которых меня очень мало интересуют. Крыленко: Я хочу только просить Трибунал... Гоц: Я просил бы хулиганствующие элементы сдержаться, гр. Председатель: Председатель: Я в некоторых моментах бессилен удерживать обвиняемых, которые имеют возможность, не покидая зала судебного заседания, здесь же совершенно не относящимися к делу крикливыми заявлениями вызывать соответствующее поведение публики. Гоц: Я был спровоцирован Государственным обвинителем. Председатель: Государственный обвинитель держался в рамках определенного закона. Если Вам, обвиняемый Гоц, угодно было спровоцировать публику на крик, то я принужден призвать к порядку и Вас, и публику. Гоц: И прокурора Крыленко. Председатель: Прокурор Крыленко был в полном праве квалифицировать определенные действия с точки зрения действующего в РСФСР закона. ...Вы можете реагировать в такой форме, какую Вы найдете угодной, т. е. путем выкриков, но не удивляйтесь публике, которая будет также реагировать соответственно. Гоц: Я не удивляюсь»<sup>240</sup>.

Суть коллизии заключается в том, что вопреки общепринятой практике и существующим советским законам вместо двух состязующихся во время судебного разбирательства сторон как бы узаконивались права третьей стороны — публики, поддерживавшей сторону обвинения. Последнее разъяснение Пятакова Гоцу прямо указывало, что кроме законно установленных правил поведения обвиняемые должны учитывать реакцию публики.

Фактически Пятаков признавал то, что несколько минут назад формально отрицал, — публика не только присутствует и слушает, но и реально участвует в процессе.

Эта сцена произвела сильное впечатление на иностранных защитников, не преминувших поделиться им по возвращении в Европу. Так, по сообщению сводки Информотдела ГПУ, делавшего подборку сообщений эмигрантской прессы для СО ГПУ «Сегодня» от 22 июня 1922 г. передавала слова Вандервельде, Либнехта и Розенфельда: «Публика, допущенная в зал суда, состояла исключительно из коммунистов. Как уже сообщалось, по адресу обвиняемых из „публики“ раздавались крики „негодяи“, „изменники“. Это лучше всего свидетельствует о характере и поведении этой публики»<sup>241</sup>.

Этот инцидент стал основанием и для протеста русских защитников 1-й группы, подавших на следующий день письменное заявление. 17 июня Пятаков в самом конце заседания прокомментировал ситуацию и само заявление защиты по поводу поведения публики в зале (которое зачитывать вслух не стал, хотя, как правило, подобные заявления от разных участников процесса зачитывались) в том духе, что пять защитников подсудимых 1-й группы обращают внимание «на неприличное поведение публики» во время допроса обвинителем Гоца. Мотивы своего не оглашения заявления защитников, Пятаков привел весьма своеобразные, сказав, что — «оно верно».

Далее Пятаков констатировал, что «вмешательство публики» в ход процесса есть «вещь абсолютно недопустимая», а вчера, несмотря на его призыв к порядку — «публика не подчинилась». Кроме публики, досталось и журналистам, Пятаков заявил, что «тон», усвоенный прессой по отношению к обвиняемым, является недопустимым, соответственно Верховный трибунал предупреждает и публику, особенно журналистов, что если и в дальнейшем их тон и поведение публики не будет соответствовать важности процесса, то он предпримет соответствующие решительные меры.

Крыленко соглашаясь с тоном и содержанием сделанного Пятаковым разъяснения, пытался обвинить Гоца в случившемся инциденте и просил Верховный трибунал указать подсудимым, что такое поведение в рамках процесса не укладываются. Но Пятаков с ним не согласился, сославшись на аргумент защиты о том, что подсудимые находятся длительное время в заключении и их состояние надо принимать в расчет, тогда как публика, в отличие от них находится в нормальных условиях и соответственно, вполне может владеть собой. И попросил подсудимых 1-й группы не провоцировать публику, а ее в свою очередь предупредил, что за «подобные выступления» последуют «репрессивные меры»<sup>242</sup>.

Таким образом, Пятаков предпочел приглушить конфликт, пригрозив репрессиями публике и даже сделав замечания в адрес прессы, придерживающейся недопустимого тона в общении с подсудимыми. Ничем иным, как фарисейством и лицемерием, подобные заявления Пятакова считать нельзя, так как он прекрасно знал, что газеты и журналисты вовсе не являются независимыми, и что им писать и каким тоном, решает «тройка» Политбюро и вырабатывает Агитпроп ЦК его партии.

Вообще это любопытный штрих к психологическому портрету Пятакову, делающему вид, что он не марионеточная фигура, что он не знает о том, о чем знала вся Москва — о получении публикой билетов из рук партийных комитетов и «билетной тройки», состоящей из чекистов, о том, что пресса выполняет решения свыше и не может грозить репрессиями

вопреки воле своих партийных начальников. Тем не менее и защита и подсудимые 1-й группы, прекрасно отдававшие себе отчет в реальном положении дел, расценили эти заявления Пятакова как свою победу, так как хотя бы формально он заявлял о недопустимости подобного поведения публики, а также признал факт недобросовестного изложения советскими журналистами слов подсудимых. Уже этого было немало. И очень важно, что демарш Крыленко был оставлен без внимания.

Впрочем на практике не только ничего не изменилось, но даже более того — 20 июня 1922 г. в зале суда выступили представители рабочих Москвы и Петрограда, произносившие такие речи и угрозы в адрес подсудимых, на фоне которых все, что позволяла себе ранее «коммунистическая публика», померкло.

Еще раз зададимся вопросом, зачем понадобилось идти на столь серьезное нарушение процессуальных норм и судебной практики? Представляется — потому, что даже такого весомого участия публики в процессе оказалось недостаточным с точки зрения его организаторов для необходимого психологического давления на подсудимых 1-й группы, которые, находясь под сильным моральным прессингом, хотя иногда и срывались, но в целом достойно противостояли гипертрофированному обвинению — обвинителям, суду, подсудимым и защитникам 2-й группы (произносившим, подобно Бухарину, порой откровенно митинговые речи), свидетелям обвинения и сидящим в зале.

Уже первые несколько дней заседания суда показали, что обвиняемые 1-й группы и их защита оказались слишком «крепким орешком». Подвергая суд и обвинение весьма аргументированной критике за многочисленные нарушения принятого порядка следствия и судопроизводства, а также прямо обвиняя их в пристрастности, ловя свидетелей обвинения и подсудимых 2-й группы на многочисленных неточностях, подтасовках и тенденциозности, квалифицируя одну часть подсудимых 2-й группы как предателей, а другую как малодушных людей, демонстрируя свое презрение специально подобранной публике, подсудимые 1-й группы снижали пафос процесса, который все заметнее буксовал, грозя окончиться моральной победой несломленных эсеров. Исчерпав все более или менее законные средства психологического давления на «непримиримых» эсеров, власти использовали заранее приготовленную, беспрецедентную в судопроизводственной практике (и совершенно незаконную) меру — дать право голоса на суде лицам, не имевшим никакого отношения к процессу — представителям рабочих коллективов. Вероятно, власть планировала таким образом убить сразу двух зайцев — морально сломить «непримиримых», повторявших, что они признают суд только «трудящихся масс», которым они служат, и показать всему миру, а главное — стране, что сотни тысяч рабочих клеймят и ненавидят эсеров, предавших их интересы.

Пойдя на столь беспрецедентное количество публики (до 2 тыс. человек) в зале судебного процесса, власти, преследуя политические мотивы (демонстрация открытости и гласности процесса), упустили из вида чисто технологические — сплошь и рядом ничего не было слышно, стенографистки постоянно жаловались на то, что ничего не слышно, и делали пропуски. Кроме того, как писалось выше, и в июне и особенно в июле было так душно, что часовые неоднократно падали в обморок.

Ротация публики была вызвана, по-видимому, не только прагматическими соображениями, но и политическими — опасениями, что каждодневное присутствие на процессе может возбудить симпатии в адрес

мужественно держащих обвиняемых, к тому же успешно полемизирующих с обвинением. Любопытно, что Пятаков, делая однажды публике замечание за шум, из-за которого в зале «ничего не слышно» и прося «соблюдать тишину» неожиданно выделил две категории тех, к кому он обращался: «граждане и товарищи из зала».

3 августа нач. Активотделения Якобсон делился своими наблюдениями: «Настроение среди публики по отношению к суду хорошее. Состав аудитории приблизительно следующий: **служащих и прочих**  $\frac{2}{3}$ , **работчих**  $\frac{1}{3}$  (выделено нами. — *К. М.*)»<sup>243</sup>.

Публика ходила на заседания весьма неравномерно. Уже с середины процесса с утра зал часто пустовал, а народ приходил ближе к вечеру. Так, например, 12 июля 1922 г. один из агентов «внутренней разведки», подслушивавший разговоры родственников подсудимых, докладывал: «Во время заседания поблизости сесть за ними не удалось, так в зале было очень мало публики»<sup>244</sup>. Зал наполнялся к вечерним заседаниям, а также когда ожидалось яркие выступления.

В высшей степени важно сообщение чекистской агентурной сводки за 21 июля, констатирующей разный состав публики утром («интеллигентная, которая относится не с большим вниманием к процессу») и вечером («и настроение определенно сочувствующее Трибуналу»): «В зале заседания публики было очень мало публики и большинство интеллигентная, которая относится не с большим вниманием к процессу. Среди публики был один гражданин, под фамилией «Каценэленбоген», который сидел рядом с матерью подсуд. Ратнер, который по указанию тов. Кузьмина был взят под наружное наблюдение, кличка ему дана «Кац». <...> На вечернем заседании публики было больше, чем на утреннем, и настроение определенно сочувствующее Трибуналу»<sup>245</sup>.

28 июля нач. Активотделения Якобсон доносил: «Вечернее заседание началось в 6 час. вечера. Публики было очень много, зал был полон. Слово Госуд. обвинителя тов. Крыленко. ...Настроение среди публики по отношению к суду сочувственное, речь тов. Крыленко публика слушает с большим вниманием»<sup>246</sup>. Впрочем даже к вечеру зал не всегда заполнялся. Так, например, в сводке за 31 июля чекисты отмечали: «В зале суда публики было не очень много»<sup>247</sup>. Но когда ожидалось интересные для «коммунистической публики» выступления, зал наполнялся и к открытию утреннего заседания в 12 часов. В общей сводке за 27 июля 1922 г. сообщалось «..., Утка» (С. Н. Гоц. — *К. М.*) очень была взволнована, когда она увидела, что к началу процесса собирается очень много публики, как она выразилась „коммунистическая публика“. ...После речи тов. Луначарского, которая окончилась под общим и продолжительным аплодисментом публики, „Матроска“ (Тимофеева. — *К. М.*) повернулась лицом к публике и качает головой <...> Вечером публики было еще больше, чем утром, настроение среди публики определенно сочувственное, это видно с того, как публика реагирует на речи обвинителей т.т. Луначарского и Покровского, продолжительными аплодисментами, за исключением конечно родственников и некоторых темных личностей, зазвавши себя политиканами (так в тексте. — *К. М.*) из общества быв. политических каторжан вроде „Ходя“, „Кац“ и пр., которые, по-видимому, сторонники с.-р.»<sup>248</sup>.

3 августа «разведчики» подслушали следующий разговор жен подсудимых о публике: «Швейка (Н. А. Аверкиева, жена Альтовского. — *К. М.*) смеется и говорит „неужели им еще не надоело ходить сюда“, это относится к публике, а Старуха (А. Д. Ракова. — *К. М.*) добавила „да, нам

приходится бывать здесь потому, что мы заинтересованы в этом процессе, но что касается публики, я совершенно не понимаю, как им так хочется сидеть в такой духоте»<sup>249</sup>. Но опровергая их, чекисты с отмечали, что во время выступления был полный аншлаг и заинтересованность: «В зале тишина, публика слушает очень заинтересовано»<sup>250</sup>.

Подводя итог, следует отметить, что, как и в ряде других случаев, власти оказались в ситуации, когда нельзя было не соблюдать атрибуты свободного и открытого суда, дабы не компрометировать себя, но и соблюдать их для власти также было немислимо, а потому власть пустилась на эксперименты с конструированием неких новых форм, позволявших и лицо сохранить и максимально сократить для себя негативные последствия свободного и открытого процесса. Но эксперимент с демонстрацией свободного и открытого суда с помощью «коммунистической публики» вряд ли можно признать удачным. Конечно, власти получили от этого эксперимента то, что хотели: во-первых, демонстрацию усилиями 2-х тысяч человек всенародного осуждения партии эсеров, что широко использовалось в пропагандистской кампании; во-вторых, поддержку обвинителей, председателя суда, защитников-коммунистов и подсудимых 2-й группы, а также моральное давление на подсудимых 1-й группы и на их русских и иностранных защитников). Но фактическое участие публики в процессе не могло пройти мимо наблюдателей и защитников, всячески привлекавших внимание к этой проблеме. Отталкивающее впечатление, которое произвел на мыслящих людей в России и на западное демократическое общественное мнение эксперимент с участвующей в судебном процессе публикой был платой за конструирование новых организационных форм ведения судебного процесса.

## **§ 5. НАПРАВЛЕННОСТЬ И ПАФОС ПОСЛЕДНИХ СЛОВ ОБВИНЯЕМЫХ 1-й ГРУППЫ: ПРАВ ЛИ БЫЛ А. Г. МЯГКОВ В СВОЕМ УПРЕКЕ?**

Находясь под впечатлением последних слов подсудимых 1-й группы на только что завершившимся процессе, один из руководителей савинковской организации в Чехословакии (и муж сестры Б. В. Савинкова) А. Г. Мягков в письме Б. В. Савинкову 10 августа 1922 г. восклицал: «Я не могу понять: С.-р. в Москве говорят „мы пробовали с вами бороться оружием, но ничего не вышло и мы отказываемся от вооруженной борьбы, признали вас и боремся, будя сознание рабочих масс и настанет момент, когда коммунистам придется склониться перед ясно выраженной волею масс“. Но ведь это та же оппозиция (выше Мягков писал о позиции Кусковой — „...не могу понять состояния оппозиции к медведю, который меня дерет“. — *К. М.*) и почему проповедовавших в былые годы этот же принцип по отношению борьбы с царской властью, презрительно назывался „постепенством“ и „культурничеством“, проповедью „малых дел“, а теперь принят, как общий лозунг с.-ров. Почему же они нами называются „революционерами“? На меня процесс С.-р. оставляет весьма тягостное впечатление. Вспоминается речь Мышкина, речи 1-вомартовцев, Каляева, а тут что-то убудочное, но облеченное в благородную форму и слова»<sup>251</sup>. То, что эта реакция не была неким случайным эмоциональным всплеском Мягкова, свидетельствовал ответ ему Савинкова от 29 августа: «Что касается эс-эров, то и в этом вопросе я с Вами согласен: эсэры

хамы и импотенты, сидят между двумя стульями и, к счастью разлагаются. Но, во-первых, подходящий ли момент теперь, немедленно после их процесса, нападать на них, и во-вторых, не достигнет ли такая кампания в настоящее время обратных результатов, т. е. вместо разъединения и ускорения процесса разложения не добьемся ли мы сплочения всех, кто не вполне согласен с нами? Боюсь второго, и потому пока взываю к осторожности»<sup>252</sup>.

Неудовольствие последними речами подсудимых на процессе с.-р. (примерно в таких же словах, как у Мягкова) было высказано даже в рядах собственной партии — правда только в правой, парижской части эсеровской эмиграции, да и высказано было в сугубо кулуарных разговорах.

Для того чтобы понять, прав ли был Мягков в своем столь резком и категоричном упреке, обратимся к речам 22-х подсудимых. Впервые мы располагаем стенографическими записями речей всех подсудимых, хранящихся в архиве ФСБ, а не только 10 речей, переданных подсудимыми в черновиках через жен и опубликованных в эмигрантской прессе (здесь мы цитируем их по стенограмме процесса, хранящейся в ЦА ФСБ, но их можно прочитать и в сборнике документов, посвященном процессу с.-р., где они были опубликованы с небольшими изъятиями<sup>253</sup>).

Речи отличаются и по своим размерам, и по количеству направленности затронутых тем. Каждый подсудимый, в соответствии со своим складом ума и темпераментом, сам определял стиль и характер речи. Чьи-то выступления педантично касались всего важного и существенного, чьи-то были эмоциональны и кратки. Фактически мы можем говорить, что очень часто последнее слово подсудимого являлось неким субстратом его умонастроения и темперамента, и порой может весьма многое сказать о человеке. Крайне важно, что уже само название — «последнее слово», настраивало на то, чтобы подсудимый произнес самое важное, абстрагировавшись от предыдущей суеты и «уликовой борьбы» (особенно это сильно ощущали те обвиняемые, кому грозил смертный приговор и для которых эта речь и в самом деле могла стать последним публичным выступлением). Так, например, Л. Я. Герштейн восклицал: «Граждане, последнее мое слово подсудимого, которому предьявлено шесть смертных статей, есть слово, обязывающее меня, как революционера, высказаться здесь перед тем, может быть, как уйти туда, откуда нет возврата, в тот момент, когда я, может быть, стою на грани небытия»<sup>254</sup>.

А. Р. Гоц в защитительной речи (всего было три таких речи, которые вместо ушедших с процесса адвокатов произносили сами подсудимые), отмечал: «Свобода это душа социализма, это — основное условие самостоятельности масс. Если вы этот жизненный нерв, эту основную сущность, если вы этот нерв перережете, тогда, конечно, от самостоятельности масс ничего не останется и тогда уже лишь прямой путь — путь к той теории, которую здесь вслед за гражданином Крыленко развивал гражданин Луначарский — к теории о непросвещенных темных массах, которым вредно слишком много соприкасаться с политическими партиями, могущими их, неопытных, неискушенных, темных, сбить, увлечь за собою, вовлечь в такое болото, из которого они, бедненькие, никогда и не вылезут. Да что же это такое, как не классически выраженная теория Победоносцева. Что это по своей социалистической (так в тексте. — К. М.) сущности, как не то же стремление Победоносцева уберечь православный чистый народ от тлетворного влияния западной демократии, которая может только замутить чистоту его сознания, которая

может только развратить его, в которой он бессилён будет разобраться и, как ребенок, которому дают острый нож, может нанести себе только острые опасные раны»<sup>255</sup>.

Основным стержнем своего последнего слова Л. Я. Герштейн сделал опровержение важнейшего тезиса пропагандистской кампании, сопровождавшей процесс (сформулированного Львом Троцким) — до Февраля 1917 г. эсеры были хоть и мелкобуржуазными, но революционерами, а после стали контрреволюционерами: «Не раз здесь обвинители бросали всем нам и поэтому и мне упреки в том, что „вы, эсеры, в прежнее время были действительно революционерами, которые выполняли определенные революционные функции, а сейчас вы контрреволюционеры. Вы изменили делу революции, вы изменили самим себе, стали не тем, чем вы были во время царизма“. Так ли это. Вот я и хочу на собственном примере, поскольку будет сил и возможности, попытаться уяснить этот момент»<sup>256</sup>. Сославшись на упоминание в советской газете, что «Герштейн представитель крупной буржуазии», он рассказал о своем отце, возившем по деревням швейные машинки Зингера и запчасти к ним, бедном настолько, что для его похорон семье пришлось продать подушки.

Герштейн подчеркивал: «Я, как социалист-революционер, считаю, что мы, социалисты-революционеры, оставаясь на точке зрения оппозиции к вам, нисколько не изменились, мы остались только верными сами себе, но мы не стали контр-революционерами. Изменились не мы, а изменились вы, которые когда-то вместе с нами боролись за те самые условия, которые теперь не считаете нужным предоставить народу»<sup>257</sup>.

М. А. Лихач восклицал: «Ужасно вам хочется партию социал-революционеров представить и перед русскими трудящимися массами и перед массами западноевропейского пролетариата именно как группу буржуазных заговорщиков. ...Как вы бы не хотели и чтобы вы не говорили, но тот факт, что на этих скамьях сидит один смертный приговор, восемьдесят лет каторги, пятьдесят с лишком лет ссылки, пятьдесят с лишком лет тюрьмы в царское время, сорок с лишком лет в Советской Республике и это, граждане, приходится почти десять лет на каждую из единиц, сидящих на этих скамьях подсудимых, известных под именем скамьи подсудимых 1-й группы. <...> То есть судится социалистическая партия, которую вам угодно назвать соглашательской партией, социалистическая партия, резко с вами расходящаяся в методе понимания социализма и социализма диктаторского. Вам угодно нас расстрелять, пожалуйста, но мы были социалисты, есть социалисты и будем социалистами. Разбить ту правду о нас, которая сейчас есть в западноевропейском пролетариате, утвердить в том, что мы буржуазные заговорщики, вам никогда не удастся. Мы жили социалистами и умрем социалистами»<sup>258</sup>.

М. И. Львов в своем коротком последнем слове обыграл тот факт, что обвинение, предъявленное ему, также было весьма коротким: «Недаром здесь гражданин Крыленко, когда он говорил об обыске у нас в тюрьме на Кисельном, о том, как чекисты во время судебного следствия брали наши судебные документы, читали и изучали их, недаром гражданин Крыленко сказал: „если бы они этого не делали, мы бы их привлекли к ответственности“. Это не только апология, но и идеология. <...> Таким образом, гражданин Крыленко, вы можете спокойно работать. Чекисты вас не выдадут. Но и они могут делать любые беззакония и вы за них заступитесь» (после этих слов председатель лишил М. И. Львова слова. — *К. М.*)<sup>259</sup>.

В. В. Агапов начал свое выступление с имевшихся якобы контактов эсеровской военной организации с французской миссией, а затем перешел к оценке предложения ряду обвиняемых в мае 1922 г. дать «подписку»: «<...> Товарищ Лихач уже указал здесь на лицемерие гражданина Крыленко, которое выразилось в том, что некоторым из нас предлагали накануне суда дать подписку с тем основанием, что мы будем освобождены от наказания. К сожалению, я был в числе тех, которым предлагали дать такую подписку. И я очень рад, что после судебного процесса, после того, как даже свидетель Давыдов, который являлся единственной уликой против меня, даже умалил то, в чем меня обвиняли, отказавшись от части показаний, что и после этого гражданин Крыленко потребовал для меня расстрела. Я очень доволен, что ту борозду, которую провели здесь, предлагая нам дать подписку, теперь сгладили и что мы сравнены со всеми товарищами в той участи, которую вы нам готовите. Я очень рад, что эта ошибка вами исправлена. Это была большая смелость, граничащая с чем, я не стану говорить, чтобы нам, испытанным революционерам, предлагать дать подписку и носить на себе Каинову печать и жить с нею в коммунистическом раю. Нет, мы разделим общую участь со всеми нашими товарищами»<sup>260</sup>.

После речи Агапова председательствующий Пятаков высказал беспрецедентное пожелание — он обратился к подсудимым с указанием высказаться в своем последнем слове по интересующему трибунал вопросу, и именно этот ответ будет влиять на их судьбу. Пятаков, ничтоже сумняшеся, заявил подсудимым: «Ввиду определенного характера предшествовавших четырех речей последних слов обвиняемых, Трибунал высказывает свое пожелание, что Трибунал желал бы слышать в последних словах, каково именно было бы поведение соответствующих обвиняемых в том случае, если бы они были освобождены из-под стражи, если бы они получили полную свободу действий в пределах Советской России. Для суждения о мере наказания, Трибуналу желательно знать от соответствующих обвиняемых, будут ли они продолжать и в какой форме борьбу против Советской Власти и против рабочих и крестьян, интересы которых обязан охранять Верховный Революционный Трибунал»<sup>261</sup>.

Естественно, что подобный вызов не мог остаться без внимания подсудимых, тем более что, предложив подсудимым сделать такой своеобразный «самодонос», который в высшей степени неуместен на любом суде (кроме большевистского), потому что суд должен судить за реальные деяния, уже совершенные, а не за то, будет ли обвиняемый бороться в будущем, Пятаков, вместе с тем, дал эсерам исключительно эффективную возможность для собственного позиционирования.

Уже следующий подсудимый, а им оказалась Д. Д. Донской, заявил: «Мое заявление будет кратким. 25 лет из 41 года моей жизни я провел в борьбе за интересы революции, социализма, в интересах широких трудящихся масс так, как это я понимал и как понимала это служение партии, к которой я принадлежал. Отчет за последний год моей деятельности перед партией я дать не смогу, ввиду того, что я был арестован, и в остальное время, с тех пор прошедшее, я не принимал участия в активной деятельности партии, сидя в тюрьме.

Отчет этот в обстановке, не соответствующей спокойному и беспристрастному рассмотрению моей деятельности, я все-таки по мере моих сил дал здесь. Я уверен, что в моих действиях партия не найдет элементов для осуждения меня за ту роль солдата революции, на которую она меня поставила. Что же касается тех вопросов, о которых говорил председатель

Верховного революционного трибунала, то по этому поводу в течение всего судебного следствия о формах борьбы с советской властью и об отношении к советской власти и о методах здесь говорилось и будет говориться»<sup>262</sup>.

В. Л. Утгоф-Дерюжинский подробно ответил на излюбленный тезис большевистской пропагандистской кампании, что на скамьях подсудимых 1-й группы сидят сплошь выходцы из правящих классов, в том числе и Утгоф, сын жандармского генерала: «<...> Да, я сын жандармского генерала, и все мои товарищи по партии и все те, кто хотел знать обо мне что-нибудь, знают это с первых дней моего вступления в организацию много лет тому назад. Но я должен сказать, что и Бебель был воспитанником тюремного надзирателя, и Каляев был сыном околичного надзирателя, и Софья Перовская была дочь генерал-губернатора, и декабристы, имена которых священны для всех культурных людей и социалистов всего мира, которые погибли на каторге и провели там десятки лет, имели в своих рядах генералов и полковников. Пестель был казнен на площади тоже за те же общие идеалы человечества, за которые и мы боремся. <...> Граждане! Если в этой обстановке, если, как вы говорите, темный народ, темная масса иначе не может идти к социализму, как под бичом, как под железной палкой, то я скажу: так мы вести народ не умеем, так мы его вести не можем»<sup>263</sup>.

А. В. Либеров свое последнее слово начал с протеста против кастового деления своей партии, а затем рассказал о своей борьбе, как представителе «партийной середки». Описав свою деятельность в Крыму в 1918 г. и рассказав о своей работе в кооперативном движении, Либеров обратился к полемике с большевиками: «Здесь все не так истолковывается, все с какой-то уголовной точки зрения, вы жаждете расстрела. Вы утверждаете, что Октябрь принес что-то новое, я утверждаю, что Октябрь ничего нового не принес. <...> Я вас спрашиваю, кто же изменил демократии или заветам социализма <...>. Я говорю — вы изменили, а не мы, потому что вы поставили ложные лозунги. А мы идем честным путем. Мы не поддавались демагогии, потому что нам слово истины дороже всего. Мы верим, что к нам массы придут или вернее не к нам — а они пойдут теми путями, о которых говорим мы и на которые призывали. Пусть мне без конца сидеть по вашим тюрьмам, я остаюсь социалистом-революционером. <...> Если мне суждено продолжать мытариться в ваших тюрьмах и умереть — все это не поколеблет меня в моей социально-революционной вере»<sup>264</sup>.

В своем последнем слове Е. М. Тимофеев заявил: «Царите и побеждайте. Мы будем ждать будущего. Мы будем говорить также, что не сегодняшней день настал для этих идей, и мы так же, как и раньше, будем всех звать в это будущее, мы так же, как и раньше, будем взоры всех прианивать вот этими идеями к этим идеалам — идеалам грядущего <...> Повторяю, наше дело — дело будущего, наше дело — дело долгой борьбы. О путях и средствах этой борьбы мы говорили, идеалы этой борьбы вам известны и мы в том же виде, как мы стояли много лет тому назад, здесь стоим и будем стоять»<sup>265</sup>.

Е. А. Иванова-Иранова в своей речи затронула четыре вопроса — о терроре, об отношении к обвиняемым 2-й группы, о своей солидарности с ЦК и о том, что она стала бы делать, окажись на свободе: «Если бы я очутилась на свободе, то та же ненависть к вам и любовь к тому, что вы давите, определили бы линию моего поведения.

<...> А теперь, граждане судьи, мое последнее слово к вам. Вы не раз слышали, что центральный комитет брал на себя ответственность за все

партийные организации, слышали также и то, что мы, рядовые отдельные члены партии, брали на себя ответственность за центральный комитет и требовали, чтобы нас посадили на скамью подсудимых. Я присоединяюсь к этому. И я, рядовой член партии, беру на себя всю ответственность за все, что делал центральный комитет, потому что за время моей партийной работы я подчинялся директивам центрального комитета и его всемерно поддерживала. И еще второй раз отвечаю на вопрос председателя. Если бы я очутилась теперь на свободе, я бы сделала тоже, что сделала раньше, я бы на V съезде голосовала также, как и на IV, также, как и раньше подчинялась бы его директивам. Этого не будет. И вы мне оставили одно счастье — умереть с теми, которых я считаю самыми близкими и дорогими для меня людьми»<sup>266</sup>.

А. И. Альтовский заявлял: «Я отвечаю еще на вопрос председателя о том, что я стал бы делать, если бы вдруг я сейчас оказался бы на свободе в России. Странное впечатление произвел этот вопрос. Он мне кажется чисто риторическим вопросом, ибо на самом деле и председатель и все мы знаем, что на свободе нам не бывать. Вы грозите нам расстрелом. Значит нас ожидает могила, а если нет, то ждет только живая могила — тюрьма. А если бы нет, если бы двери тюрьмы вдруг, вопреки всем вероятностям, вдруг перед нами раскрылись, то они раскрылись бы только для того, чтобы мы оказались во всероссийской тюрьме, в этой огромной каторжной тюрьме, в которую вы посредством вашего Государственного Политического Управления обратили всю Россию. Свободы в России нет. И быть на свободе в России без свободы я не мог бы. А если иногда в мечтах и снах мне мерещится эта свобода России, мне она представляется так: я уехал бы в деревню, работал бы там вместе рука об руку с трудовым крестьянством над поднятием его хозяйственной и общественной жизни и только. Скромная и мирная задача, но она представляется мне в мечтах наилучшей участью. Увы, это только мечта, подобные мирные планы были мечтами и у Желябова»<sup>267</sup>.

П. В. Злобин построил свою речь на полемике с Крыленко и Кларой Цеткин: «После всего сказанного трудно говорить, но необходимо, необходимо главным образом по двум причинам. Заставляет меня говорить обвинитель Крыленко и обвинительница Клара Цеткин. Крыленко вчера или раньше 2-го сказал, что мною была сделана надпись на тексте подписки о желании быть оправданным. Но не думайте, что я в тот день хотел в чем-то повиниться и прощения просить. Присутствующий здесь Яковлев не дал мне возможности эту надпись заменить мотивированным заявлением. Он в то время убедил меня, чтобы зарегистрировать мой отказ сделать хоть какую-нибудь надпись. Надписью я хотел выразить только одно, что я в полной мере с точки зрения Советской власти, который держался директив Центрального комитета давно подошел под ряд советских амнистий. Но на следующий же день, 19-го мая, я послал свое заявление и оно, по словам товарища, просматривавшего личные дела, есть. Там гораздо подробнее того, что так неясно выразил я на этом бланке подписки. Почему я не подписал. Да, ясно, стыдно мне кажется было обращаться с требованием вымогательства обязательства, которым вдобавок привыкли еще не верить. Теперь, сейчас я слышал запрос председателя: что бы вы стали делать на воле. Гражданин Председатель. Обидеть вас я не хочу, не желаю нисколько, но скажу совершенно академически, что это повторение запроса о той же самой подписке. Разве так ставят вопрос судьи. Что я делал — вы знаете. Если не по следственному производству суда, то, по крайней мере, по данным Государственного политического

управления: Что я член партии социалистов-революционеров — это ясно. Обязательства на будущее не участвовать в партийной среде никогда не дам. А если я в течение ряда лет, как это знает Государственное политическое управление, в нелегальной работе участия не принимал, — то что же делать. Это ужо мои счёты с партией и пусть с меня Центральный комитет спрашивает. Будь ли я, или нет принимать участие — об этом судите по прошлому <...> Если бы наша партия стояла у кормила власти, если бы мы победили, мы бы сумели подойти к вам и сговориться не на основах одностороннего договора. Берегитесь, вы побеждены, мы бы вам не кричали. На этом я кончаю»<sup>268</sup>.

Ф. Ф. Федорович в своем последнем слове напоминал: «Еще на предварительном следствии, а затем в одном из первых заседаний суда я заявил, что я как член Центрального комитета несу полную ответственность за все действия как Центрального комитета, так и его полномочной делегации. Это я в моем последнем слове настоятельно повторяю. Все 20 лет, которые я провел в рядах партии социалистов-революционеров, я всегда был активным, действенным, дисциплинированным членом этой партии. Это моя гордость и никогда ни при каких условиях от этого не отказывался и не откажусь, конечно»<sup>269</sup>.

Н. И. Артемьев заявил, что берет последнее слово не для своей защиты: «Я, как верный сын партии, как активный работник в ее рядах, всегда стоял на той позиции, на которой всегда выявлялась линия поведения нашей партии. <...> Вы требуете смертной казни членам партии, которая ставит своей целью изменение государственной власти, даже не путем вооруженного восстания, не путем вооруженной борьбы, а которая стремится в данный исторический момент изменить политику власти путем организованного политического давления рабочего класса на власть. За это вы хотите расстрелять нас, как вредный элемент. Наш процесс воистину исторический. Он исторический не только потому, что вскрывает здесь гигантскую борьбу нашей партии, партии, стоящей на точке зрения демократии, партии, стоящей на точке зрения социализма, но он исторический еще и потому, что здесь впервые коммунистическая власть путем кровавой расправы желает разделаться со своими политическими противниками за их политическую борьбу. Вы своим приговором начинаете новую эру кровавых расправ. <...> Здесь Клара Цеткин проронила великие слова. Она сказала: „Для каждого революционера отдать свою жизнь за благо рабочего класса, не только долг, но и счастье“. Мы революционеры и социалисты, идя на борьбу, всегда готовы к смерти, где бы она нас не постигла и мы гордо выслушаем ваш смертный приговор»<sup>270</sup>.

Е. С. Берг, единственный рабочий из 1-й группы подсудимых, разоблачал власти, говорившие за рабочих и от их имени: «Я рабочий. Роль моя в процессе чересчур мала и чересчур незначительна. Я случайно, может быть, умышленно, был припаян к этому процессу и я горжусь и, как и в первый раз сказал, и сейчас повторяю, что я благодарю вас за то, что вы дали мне возможность разделить скамью подсудимых вместе с моими товарищами. Казалось бы, что мне, как рабочему, Октябрь, который сулил рабочим всякие блага, все — и дворцы, и фабрики, и землю, и волю, казалось бы, что мне место там, в рядах ваших, в рядах вашей коммунистической партии. Но я как старый боевой рабочий, никогда не выходивший с 98 года из рядов борющегося пролетариата, я сразу почувствовал, что значит коммунистический переворот, что несет нам октябрь. И еще раньше Октября: 18 июня и 3-го июля я понял, к чему идут коммунисты.

И не раз говорил на митингах, говорил открыто перед всей рабочей петроградской рабочей массой, что значит то будущее, которое нам проповедуют большевики. <...> И сейчас, гражданин председательствующий, могу ответить следующими словами: я этого знамени не сверну и если товарищам, с которыми приходится мне сидеть на скамье подсудимых, суждено умереть, то я оставшись в живых буду продолжать святое дело, начатое ими и то, что им не удастся закончить, я надеюсь, удастся закончить мне»<sup>271</sup>.

Г. Л. Горьков-Добролюбов произнес самую краткую среди выступавших в тот день речь: «Мое последнее слово будет очень кратко. Я всегда был противником всякого насилия, от кого бы оно не исходило. Таковым я остаюсь и до сего дня. И поэтому для меня ни в какой мере не приемлема Ваша диктатура, как бы Вы ее не называли. И тут я с Вами в корне расхожусь. Но есть еще другое, что для меня неприемлемо — это Ваше насильственное осуществление социалистического строя. Я никак не допускаю мысли, чтобы к социализму можно было придти путем террора и через груды человеческих трупов. Я не мыслю себе социализма без свободы. И я думаю, что единственный путь к социализму — это путь через демократию и народовластие. Иного пути я не мыслю. Такова моя позиция и, как социалист-революционер, от этой позиции я никогда не откажусь»<sup>272</sup>. Тем не менее организаторы процесса сочли возможным трактовать позицию Горькова-Добролюбова как отличную от взглядов представителей первой группы (о чем пойдет речь ниже).

М. А. Веденяпин восклицал: «И гр-н Бухарин — он здесь голосом хозяина распоряжается, — одним дает свободу, других обрекает на смерть, — он может то же сделать и со мной — отправить меня умирать вместе с моими товарищами, он это может сделать, но на мою честь я никому не позволю посягнуть, никому не позволю бросить на нее какие-нибудь намеки. Он пытался набросить на меня тень, он пытался разделить меня с моими товарищами, пытался посеять рознь между мною и товарищами, с которыми я 20 лет работал и от которых никогда не отрекись, но набросить тень я никому не позволю и каждому скажу: руки прочь»<sup>273</sup>.

М. Я. Гендельман в своем последнем слове был вынужден отвечать на личные выпады против себя как фактического защитника: «Что касается „ходатая“, то обыкновенно ходатаем разумеют того, кто продает совесть, а не свои юридические знания, чтобы вершить нужные дела. Я думаю достаточно установить содержание этого понятия, чтобы определить его объем. Меня при прошлом режиме не могли оскорбить Замысловские и Пуришкевич, меня при настоящем режиме не могут оскорбить Бухарин и Членов. <...> Я хочу говорить о мотивах нашей борьбы с советской властью. <...> Если я просто скажу, что мы считали вас антинародной партией, — это будет для вас не убедительно. Вы все-таки будете продолжать считать, что мы действовали как контр-революционеры, что мы нарочно связались с буржуазией и так далее. Разрешите мне сказать вам в последнем слове, вы судите Центральный комитет, который давал директивы, которым подчинялась партия, разрешите мне сейчас сказать в последнем слове, почему такую директиву дал Центральный комитет и 8 совет, почему мы тогда, когда вы стали властью и почему мы еще раньше, когда вы хотели стать властью во время октября, почему мы противодействовали вам»<sup>274</sup>. Но сказать все это председательствующий Гендельману не разрешил и после довольно продолжительной перепалки просто лишил его слова.

Состоявшаяся словесная дуэль важна прежде всего тем, что Пятаков четко и определенно дал понять, что большевики произвели пересмотр того, что ранее считалось последним словом подсудимого, наложив запрет на ряд тем и сюжетов, в том числе и на объяснение мотивов деятельности обвиняемого.

Выступавший вслед за Гендельманом Н. Н. Иванов не преминул обратиться на это внимание и обратился к Пятакову: «Гражданин Председатель, таким разъяснением, которые Вы дали сейчас, Вы ставите меня и, я думаю, всех моих товарищей в чрезвычайно затруднительное положение. Я не знаю, как по Вашим законам (с Вашим кодексом я не знаком), но до сих пор считалось во всех судах, что в последнем слове обвиняемые имеют право не только опровергать и отвергать те конкретные обвинения, которые выдвинуты против них, но и давать объяснения, почему они делали так, и не делали так, почему они делали то, что против них выдвигается. Это было неотъемлемым правом всякого обвиняемого. Даже формально. <...> И, лишая слова моего товарища Михаила Яковлевича Гендельмана, Вы не дали ему возможности развить те соображения, исходя из которых велась та борьба, которая привела нас на скамью подсудимых. Я крайне затруднен. Если вы будете и к другим обвиняемым относиться также, как вы относитесь к моему товарищу Гендельману, то, вероятно, нам говорить не придется»<sup>275</sup>. «Граждане, я заявляю, — продолжал Иванов, — что не всякий, кто бьет буржуа и поет Интернационал — социалист, и не всякая борьба приближает к социализму. Мало того, что вы говорите о себе, что вы Рабоче-крестьянская власть, мало того, что вы называете свою Республику социалистической, не по словам мы судим или вы нас судите, а по делам. <...> Если раньше в первый период революции Вы были тем факелом, который освещал дорогу к социализму, вы были тем факелом, который стоял впереди, то тот порядок, тот ужас, который творится сейчас в России, способен остановить идущих к социализму рабочих и напугать их перспективами того, что мы переживаем сейчас в России. Долго придется еще ждать, пока этот ваш урок будет изжит пролетариатом всего мира, когда он смело и спокойно пойдет к социализму старыми путями, вопреки тем, которые указываете Вы. Вот, граждане, причина, почему мы в 18 году выступали против Вас и почему сейчас идти с Вами не можем. Я думаю, что этим я даю ответ на маленький вопрос Председателя сегодня утром, на вопрос о том, что мы станем делать, если случится то, чего не случится, то есть если мы выйдем отсюда спокойно на улицу. Мы будем делать то же, что и сейчас. Мы будем бороться за социализм своими путями и тактика нам будет подстраиваться реальным соотношением сил. <...> Сейчас я совершенно смело говорю: из этого акта политической борьбы, который здесь разыгрывался, победителями вышли мы, а не вы. Неважно, что будет с нами завтра или после завтра. Не тот победитель, кто расстреливает, вернее не всегда. <...> И лучшим доказательством того, что этот политический процесс выиграли мы, а не вы, послужит следующий факт, который еще не случился, но который будет. В борьбе демократии с самодержавием, самодержавие может побеждать, может держаться десятки лет, но в конце концов на смену самодержавия, как бы оно не называлось, приходит демократия»<sup>276</sup>.

В своем выступлении член ЦК ПСР Д. Ф. Раков заявил: «Граждане, я воспользуюсь своим словом не для того последнего предсмертного революционного жеста, о котором здесь говорилось со скамьи обвиняния. Я взял себе слово для того, чтобы дополнительно мотивировать свою деятельность

и деятельность нашей партии за тот пятилетний период, которая в течение 45-ти дней здесь инкриминировалась нам. <...> В результате октябрьского переворота к власти пришла партия, которая идеологически до сих пор не была настроена дружелюбно по отношению к трудовой крестьянской деревне. Для этой партии широкие трудовые крестьянские массы являлись не субъектом революционной социалистической политики, а только объектом ее. <...> В данный момент крестьянское хозяйство в корне разрушенное. <...> Каковы же положительные задачи, которые ставит себе партия эсеров в деревне. Основная задача, которая стоит сейчас перед крестьянской массой, это восстановление крестьянского хозяйства, как такового, восстановление производительных сил сельского хозяйства. <...> Второе положение <...> чтобы крестьянство было в глазах политической партии активной действующей революционной силой, оно должно изжить эту свою классовую дезориентацию, оно должно ясно и отчетливо осознать кто его враги, и кто его друзья, оно должно осознать, с кем ему по пути и с кем ему не по дороге. Вот изживанию этой классовой дезориентации партия и должна посвятить максимум своих усилий. <...> Третья задача — удерживая бунтарско-мятежные настроения взбужденной деревни, удерживая это настроение, подогреваемое порой острыми объективными условиями, вызываемыми острыми средствами, которые пускаются по тем или иным соображениям в ход властью предрешающей (так в тексте. — *К. М.*), партия эсеров будет волеизъявление трудовых крестьянских масс направлять только по руслу политической борьбы, а не по руслу вооруженной борьбы, и она должна принять все меры, что бы эти бунтарские мятежные настроения крестьянских масс разряжать, направляя его политическое волеизъявление в тех легальных руслах, которые представлены, представляются и будут расширяться легальной советской действительностью. <...> Вот то в области крестьянской политики, вернее говоря, в области тактической линии поведения, в области крестьянской политики, которую мы, формулируя здесь, завещаем нашим товарищам, восходя на изготовленный нам эшафот»<sup>277</sup>.

Подводя итог, зададимся вопросом, прав ли был А. Г. Мягков в своем резком упреке? Представляется, что лишь отчасти. Критика большевизма слева, некоторая двусмысленность партийной тактики, хотя и принципиально не отрицавшей вооруженной борьбы с большевизмом, но отказавшейся от нее, безусловно, сказывалась в речах подсудимых и мешала стороннему наблюдателю в целности восприятия позиции осужденных (отчасти и сегодня мешает, когда туман неопределенности в вопросе эволюции большевизма рассеян временем, и многие колебания эсеров и их приверженность социалистическим ценностям кажутся порой неоправданными) и снижал пафос их противостояния.

Но можно ли сегодня не увидеть вслед за Мягковым этого противостояния или назвать его пафос «ублюдочным»? Вряд ли можно согласиться с оценкой Мягкова. Речи и степень их резкости были весьма разными, но в них прозвучала убийственная критика в адрес «чекистско-коммунистического рая».

Кроме того, противоречивость партийной позиции не должна затмить личное мужество и выдержку людей, половине из которых грозила смерть.

Нужно немалое мужество, чтобы бросить такие слова в зал, наполненный двумя тысячами коммунистов — свистящих и гневающихся. Отметим также, что столь резкое суждение о поведении «смертников» сидевшего в эмиграции, вдалеке от ГПУ, и не находившегося в эпицентре самой ожесточенной пропагандистской травли Мягкова не делало ему чести. Резкие

суждения Савинкова (возможно, отчасти и справедливые) можно было бы и принять при условии, что через два года он сам, оказавшись в качестве клиента чекистов и Крыленко, проявил бы хотя бы ту же самую стойкость, что 22 подсудимых из партии «хамов» и «импотентов».

## **§ 6. «ЕСЛИ ТРЕБУЕТ РЕВОЛЮЦИЯ, ТО МОЖНО СВЕСТИ НА ЭШАФОТ И СОБСТВЕННУЮ СЕСТРУ»: НАПРАВЛЕННОСТЬ И СПЕЦИФИКА ПОСЛЕДНИХ СЛОВ ОБВИНЯЕМЫХ 2-й ГРУППЫ**

Роль подсудимых 2-й группы, по замыслу постановщиков процесса, была весьма важной и заключалась в том, что они, символизируя низы ПСР, должны были отречься от «преступных верхов» и, каюсь, припасть, подобно блудному сыну, к стопам великодушной коммунистической партии и советской власти, которые одних покарают, других простят. Впрочем, власть доверяла им в разной степени, и в то время, как часть из них была на свободе, остальные, как уже отмечалось, сидели в тюрьме. Кто был на свободе из подсудимых 2-й группы, видно из «Списка выданных билетов подсудимых, находящихся на свободе, для входа на процесс ПСР», в котором значились фамилии — «Семенов Г. И., Коноплева Л. В., Ставская Ф. Е., Усов К., Дашевский И., Игнатъев, Ратнер, Морачевский»<sup>278</sup>.

Последние речи подсудимых 2-й группы дают возможность оценить то, что они говорили, оказавшись в столь незавидной для революционера роли, в роли кающегося преступника. И если революционная традиция освящала и в какой-то степени регламентировала речь непримиримого революционера, который бросал ее в лицо власти, то в данном случае ситуация получилась парадоксальной. Властям нужно было противопоставить раскаявшихся эсеров из 2-й группы «непримиримым» 1-й группы и поднять их на щит. Это было необходимо для решения не только конкретных вопросов проведения процесса с.-р., но и более глобальных задач. Требовалось сделать этот пример заразительным для других колеблющихся эсеров, толкнув их на путь сотрудничества с властью для развала ПСР в целом и для организации с помощью эсеров-ренегатов Ликвидационного съезда ПСР. Но трудность и для власти и для самих подсудимых 2-й группы заключалась в том, что приходилось решать задачу, подобную задаче «квадратуры круга»: сделать позицию ренегата пафосной в глазах людей, воспитанных в рамках субкультуры революционера. Да и в традиционной русской культуре предатель всегда оценивался предельно жестко. Совсем не случайно для повышения статуса и значимости подсудимых 2-й группы, хотя бы в глазах коммунистов и советского обывателя, к ним в качестве защитников назначили достаточно видных коммунистов. Но этого было мало. Конечно, защитники делали, как могли, свое дело, конечно, эту задачу активно пытался решить Г. М. Ратнер, и введенный-то в эту группу для того, чтобы возглавить ее и сочинять разного рода альтернативные протесты и выступления в пику подсудимым 1-й группы. Проявлял в спорах активность И. С. Дашевский, но в целом большинство подсудимых 2-й группы предпочитало при малейшей возможности отмалчиваться и производило впечатление чего-то серого и невразумительного. Так, жена Д. Д. Донского вспоминала: «Несмотря на их более выгодное положе-

ние, они впоследствии так и не сумели использовать свою мощную защиту, выступали слабо и шумно. Даже председатель вынужден был их иногда одергивать»<sup>279</sup>.

А вот последнее слово подсудимого все же заставило каждого из них в той или иной степени раскрыться. И для исследователя интересно все: какие конкретные проблемы выбирал подсудимый для освещения, как конструировал свою речь, на чем акцентировал внимание, а чего, наоборот, всячески избегал. Последние речи подсудимых 2-й группы начались с выступлений Ю. В. Морачевского и В. И. Игнатьева, но они-то как раз нам и неинтересны, т. к. лишь формально входили в нее. Ни они сами, ни их «согруппники» членами 2-й группы их не считали. Им двоим первыми представили слово, но в изданной книге речей защитников и подсудимых 2-й группы их речи не были опубликованы. Кроме того, выступавший вслед за ними Дашевский объяснил, почему это произошло и почему лишь его выступление является первым из речей обвиняемых 2-й группы: «Я говорю первым от нашей группы, потому что, хотя сегодня только что вы заслушали с этих же скамей последние слова двух подсудимых, тем не менее я полагаю, что с самого начала процесса и вам, и всем остальным, присутствовавшим и следившим за течением данного процесса, ясно было, что помимо этого, чисто внешнего, чисто формального объединения в единую группу, <...> была некоторая другая группировка, было, кроме чисто внешнего объединения, еще другое внутреннее органическое объединение той именно группы подсудимых, от имени которых я сейчас первый беру слово. Ибо гражданин Морачевский и в начале процесса и сегодня сообщил вам, что он не принадлежит ни к той, ни к другой группе. Что касается гражданина Игнатьева, то <...> для каждого из присутствующих на данном процессе совершенно очевидно, что ни по своему партийному прошлому, ни по своей идеологии в прошлом, ни по своей идеологии в настоящем гражданин Игнатьев нашим товарищем не является»<sup>280</sup>. Забегая вперед, скажем, что дальнейшая судьба Игнатьева может служить прекрасной иллюстрацией поговорки — «Свой среди чужих, чужой среди своих»<sup>281</sup>.

Дашевский осяю своего выступления сделал ответ Лихачу, в качестве одной из особенностей этого процесса выделившему огромное количество ренегатов и предателей, собранных на нем. Упрекнув своих оппонентов в отсутствии «исторического и социологического анализа» этого феномена, он взялся доказать его глубинные корни, вновь виртуозно используя для этого «диалектику»: «Но с нашей точки зрения, с точки зрения подсудимых, сидящих на этих скамьях, из всех особенностей настоящего процесса одна особенность имеет наибольшее значение, это то обстоятельство, что главная тяжба, главные, наиболее жестокие споры, главные, наиболее жестокие схватки перед лицом этого суда ведутся не столько между обвинением и обвиняемыми, сколько, главным образом, для нас по крайней мере, между двумя группами обвиняемых. Совершенно ясна причина, которая вызвала это обстоятельство. Это то, что еще до начала процесса было брошено обвинение в провокации и оговоре, в предательстве. Обвинение было брошено по адресу наших товарищей, и здесь с первых дней процесса это обвинение было повторено и распространено на всех нас. ...Предатели, провокаторы и оговорщики, как массовое явление на политическом процессе, действительно, исключительное явление. И поскольку здесь, на этом процессе, такого рода объяснение было преподнесено, поскольку здесь было заявлено, что на этом процессе имеет место массовая провокация, массовое предательство, массовый оговор,

казалось бы, тем, кто стал на этого рода позицию, надлежало бы <...> попытаться выяснить, в чем сущность этого массового явления, в чем его реальное содержание, в чем те реальные объективные социальные причины, которые могли привести к необычайной борьбе, развернувшейся на этом процессе. <...> Мы можем с совершенной категоричностью констатировать, что те, кто бросил в нас такого рода обвинение, так называемая первая группа подсудимых, этого даже не пытались сделать. <...> Мы не считаем нужным возражать на этот поток грязных выпадов, лившийся по отношению к нам, сидящим на этих скамьях. Отчасти это уже было сделано нашей защитой, а главное, мы убеждены в том, что и суд, и общественное мнение трудящихся, которое, конечно, нас более всего интересует, имеют достаточно объективных данных для того, чтобы судить о нас, как о революционерах. И в своей борьбе, неизбежной борьбе, которая велась и сейчас в этих последних словах будет вестись нами; с первой группой подсудимых, мы, конечно, не последуем их примеру, мы оставляем целиком в их распоряжении все эти недостойные приемы»<sup>282</sup>. Стремясь опровергнуть заявления подсудимых 1-й группы, что партия эсеров осталась на социалистических позициях, Дашевский заявлял: «Это, конечно, смешно, ибо перед всеми и везде в этом отношении они, конечно, сами себя в достаточной мере разоблачили, у них не осталось даже социалистической фразеологии. Если они этого не замечают, если они не замечают, что их устами говорит идеологии буржуазная, то это точно так же, как герой Мольеровской комедии не замечал, что всю жизнь он говорил прозой <...>».

Анализируя процессы, происходившие внутри эсеровской партии, Дашевский приходил к выводу, что имел место процесс «самоопределения революционных элементов, их отмежевания от неревolutionных, несоциалистических позиций, которые стала занимать партия социал-революционеров, а параллельно этому, с другой стороны, шел и продолжался неуклонно другой обратный процесс, процесс эволюции в сторону реакции <...>». По мнению Дашевского, именно столкнувшись в ходе своей заграничной поездки с проявлениями этого процесса в рядах эсеровской эмиграции, Семенов и Коноплева сочли необходимым выступить с теми «разоблачениями», которые легли в основу данного процесса. «Поскольку это разоблачение стало фактом, — продолжал он, — фактом, с которым столкнулись все мы остальные, в той или иной мере причастные к этому прошлому партии эсеров, наши ощущения были довольно разнообразны. Прежде всего, для каждого из нас в том, что мы узнали из этих разоблачений, выяснилось, что многое мы раньше знали весьма неполно, относительно того, что нас до глубины души возмущало, ибо то, что мы знали, мы знали отрывочно, кусочками. Но всей контрреволюционной сути, всей невозможной, так сказать, отвратительности того, что было в нашем прошлом, это перед нами никогда с такой полнотой и ясностью не вставало. И, конечно, поскольку вопрос был поставлен так, как он был здесь поставлен, постольку стал вопрос, что это дело должно стать и становиться перед судом Революционного трибунала, для нас, при нашей позиции, при нашем отношении к революционной Советской власти и ее суду, не могло быть другого ответа, как ответ о том, что на суде революционного народа, на суде революционной России мы лгать и отпираться от того, что мы делали и от того, что мы знали, права не имеем. И еще яснее невозможность от чего бы то ни было отпираться, о чем бы то ни было молчать, стала перед нами, когда началась всем известная травля нас как, якобы, провокаторов.

И вот, граждане, поскольку здесь неоднократно с той стороны делались изыскания относительно того, где источник и начало этого процесса и того, что на нем происходит, поскольку здесь искали того, кто поставил этот процесс, искали его то в том кабинете, где заседал Центральный Комитет Рабоче-крестьянской партии, то в кабинете Агранова, то в кабинете Дзержинского, я позволю себе указать точный адрес, по которому надо обратиться, чтобы найти виновника настоящего, процесса — это редакция „Голоса России“, кабинет В. М. Чернова, ибо не только для меня лично, но и для товарищей Коноплевой и Семенова он был той последней искрой, от которой загорелся пожар настоящего процесса <...>. Это вы (подсудимые 1-й группы. — К. М.) заставили нас сделаться вашими обвинителями в данном процессе. Та позиция, которую вы заняли по отношению к нам и всем другим товарищам, дала нам неоспоримое нравственное право на обвинение, ибо в этом единственная наша возможность самозащиты. От того или другого наказания мы никогда и нигде не уклонялись и никогда его не опасались. Но там, где дело идет о революционной чести, там не защищаться нельзя (выделено нами. — К. М.). <...> Вот, граждане судьи, те мотивы, та психология, с которой мы шли и пришли на этот суд — те мотивы, те мысли, те ощущения, с которыми мы боролись на этом суде за правду. Мы полагаем, граждане судьи, что эта правда с достаточной полнотой и яркостью на этом суде вскрылась и предстала перед вами, и мы совершенно спокойно ждем не только вашего суда, но и суда трудящихся России и всего мира и суда истории»<sup>283</sup>.

К. А. Усов, рабочий-боевик, при вступлении в РКП(б) скрывший факт своего участия в террористической группе Г. И. Семенова, в своей речи «вскрывал» противоречия между эсерами-рабочими и верхами партии: «Товарищи судьи, я дозволю себе остановиться на тех пунктах, в которых меня наиболее, так сказать, хотели запутать обвиняемые той стороны. Не всегда мы, рабочие, были вместе со своими вождями, и были такие периоды в истории партии социал-революционеров, когда верхи и низы партии, находясь в одно время в одной и той же партии, оказывались по обе стороны баррикады. Здесь, между прочим, мне задавалось масса вопросов, почему именно в Октябрьскую революцию я принял участие не вместе с Гоцом, а вместе с рабочими против казаков Керенского и Гоца. В этот период революции партия социал-революционеров, как я уже здесь говорил, не представляла из себя чего-то целого, и настроение рабочих-эсеров в это время в партии вовсе не разделяло политику Центрального комитета, политику коалиции с буржуазией, и гр. Гоц прекрасно должен помнить вторую Петроградскую конференцию, когда само коалиционное министерство на этой партийной конференции было принято большинством только четырех голосов <...> Дальше, уйдя из партии с.-р. в конце 18 года, я находился, так сказать, в аполитичном состоянии: я не примкнул к коммунистам и не мог быть уже более эсером, но впоследствии под влиянием анализа всего происшедшего я пришел к заключению, что, если я не могу в силу сложившихся обстоятельств быть коммунистом, то помогать революции, помогать рабочему классу, как рабочий, обязан <...>».

Здесь на процессе у меня собственно имелись две цели. Одна из целей, одна из задач, это рассказать перед лицом всего пролетариата о моей работе в революции и сделать соответствующий отчет. И другая задача — осветить те темные стороны партии эсеров, свидетелем которых я когда-то был. Обе эти задачи я здесь выполнил и могу со спокойной совестью ждать заслуженного приговора со стороны Революционного трибунала»<sup>284</sup>.

Речь Л. В. Коноплевой была сверхкраткой: «Товарищи судьи, все, что я считала своим долгом рассказать, всю правду о своей работе в партии социал-революционеров в 18 году, все это я рассказала и на предварительном следствии, и на следствии Трибунала, и своему ЦК. Я выполнила свой долг, долг революционера, и теперь дело Трибунала судить меня»<sup>285</sup>.

П. Т. Ефимов был весьма агрессивен: «<...> Кто нас судит? Судят нас те, с кем вы должны идти нога в ногу, плечо в плечо все время. Кроме того, здесь все время искажалась истина. Все время, изо дня в день здесь говорили неправду, неправду и неправду. Надо бы хотя в последнем отчете, как вы говорите, перед своими избирателями сказать ту правду, которая действительно имела место, но не лгать и лгать. Горе той партии, у которой такие летописцы! А, ведь, вы, граждане, пришли сюда писать историю, давать отчет перед своими избирателями. Но не думайте, что здесь вы закончили свой отчет, вы еще дадите отчет перед теми людьми, которые вас выбирали, дадите отчет перед той партией, именем которой вы спекулировали. Ведь в рядах этой партии были такие святые имена, как Каляев, Балмашев, как Гершуни — вот этими именами вы все время прикрывались и спекулировали. Вы, граждане, благодаря такой политике вычеркнули партию из политической жизни, вычеркнули ее вообще из списка политических партий, вы загнали в подполье партию, вы распылили ее. Ну, и что же вы сделали-то, чего вы добивались? Вы своей политикой служили врагам, служили Деникину, служили Врангелю, а теперь отрещиваетесь, а мы знаем, что вы служили у того же Врангеля, так, что и здесь верить трудно.

Гендельман мне бросил фразу, что я своей поездкой и тем, что говорю о ней здесь неправду, играю 22-мя головами. Нет, граждане, уж если кто играет головами, так играет вы нашими головами, а не мы вашими, вы нас посылали в Москву и везде мы ездили, мы несли свои головы сюда, и вы не имеете права этого говорить нам, это право говорить имеем мы. Но будем придерживаться той пословицы, что лежачего не бьют, бросим и перестанем говорить об этом. И вот вы написали, действительно, вписали, в историю такую страницу, которой не то что в какой-нибудь партии, а нигде в революционном движении не было написано. <...> Пусть Революционный трибунал скажет свое последнее слово — опасен я или нет для Республики? Приговору его я подчиняюсь»<sup>286</sup>.

Ф. В. Зубков заявил, что не намерен произносить политических речей или заниматься критикой какой-либо политической партии, а постарается объяснить, почему он участвовал в тех или иных «революционных фактах», и рассказать «хоть немного свое прошлое»: «Я происхожу из рабочей семьи. В силу известных экономических обстоятельств я с 14 лет очутился на фабрике. <...> И с этих юношеских лет в моей душе уже запала вся ненависть к тому негодному политическому строю, которыми издевался в полном смысле слова над детским трудом. И этот отпечаток у меня остался во всей моей жизни <...>. В 1906 году я определенно был уже эсером. <...> Вся моя жизнь, с 1906 по 1912 гг., это сплошная тюрьма, ссылка, нелегальная жизнь <...> Помимо мелких издевательств над всеми нами и лично надо мной и больших выпадов, я вчера услышал от Елены Ивановой: „Я вам все прощаю“. Меня это удивило: что я такое сделал пред ними и в особенности перед ЦК, за что она меня прощает. Может быть, она прощает меня за то, что вы, цекисты, своими действиями за эти последние революционные годы вырвали у меня ту веру, которую я имел с юношеских лет. Может быть, она прощает меня за то, что этими последними действиям вы вколотили осиноый кол в п. с.-р.,

в ту партию, которая все-таки имеет известное историческое прошлое. Может быть, она прощает меня за то, что вы меня вовлекли во имя партии, во имя ее идей в эту авантюристическую историю. Может быть, она прощает меня за то, что за все эти четыре года я находился вне партии и переживал нравственно, мучился в этом прошлом своем преступлении. Если за эти дела она меня прощает, то я вам, бывшие друзья, за все это, за представленные мне муки за это время не прощаю и не прошу никогда. И, поэтому, бывшие, товарищи, я не принимаю вашего прощения. Возьмите его себе. Я вам за это никогда не прошу <...> <sup>287</sup>».

Ф. Е. Ставская вслед Коноплевой была также весьма лаконична: «Товарищи судьи, я не хотела бы воспользоваться своим последним словом для того, чтобы говорить против своих бывших товарищей. Я должна признаться, что я с большим вниманием прислушивалась к их последнему слову, хотела в этом последнем слове найти оправдание своей прошлой деятельности, но я увидела только тот страшный разброд, то страшное болото, где уживаются такие „лавристы“ в кавычках и селедки на самом деле, как Либеров, такие обыватели, которые мечтают о тихом уголке, о корове и землице, как Альтовский, такие, как Злобин, которые говорят, пусть их товарищей расстреляют, и такие, как Иванова, которые говорят то, чего не было и которые прощают старого революционера Зубкова за то, что в конце концов он классовым инстинктом понял, что он пролетарий. Тогда я еще больше убедилась, какую преступную деятельность мы вели, в каком болоте я сидела, и что мое преступление выражается в том, что я, старая революционерка, каторжанка, могла в начале революции быть в этом болоте, что я, когда ушла из этого болота, так мало сделала для революции.

Товарищи судьи, я о своей позиции говорить не буду. Наши позиции ясны, и не за них мы судимся. Я думаю, что рабочий класс нас оправдает за то, что мы делали, и если он нас обвинит, то только за то, что мы этого давно не сделали и в этом я себя сама обвиняю»<sup>288</sup>.

Речь Г. И. Семенова как одного из главных творцов и героев процесса ставшего в глазах своих бывших товарищей символом предательства и ощущавшего это, представляет большой интерес: «Товарищи судьи, когда я предал гласности прошлую деятельность партии социал-революционеров, я исходил из одной основной цели. Я считал, что нужно вскрыть истинную сущность партии эсеров, что нужно показать моральное убожество ее Центрального Комитета, и теперь, после 50-ти дневного процесса, я констатирую, что все те основные факты, которые были изложены в моей брошюре, полностью подтверждены. Моя основная цель — сорвать маску с партии социал-революционеров — достигнута. Перед всеми трудящимися всего мира предстала истинная сущность партии социал-революционеров, партии антисоциалистической, партии мелкобуржуазной, партии, которая находится по ту сторону баррикад революции, и я убежден, что теперь каждому рабочему ясно, что я должен был вскрыть эти темные стороны партии социал-революционеров, что это был мой долг, долг революционера и коммуниста, ибо у революционера может быть только одна высшая мораль — это служение революции <...>

Я остановилась только на одном факте, за который я считаю себя виновным, на том, что тогда, когда я сознал преступность своей деятельности и преступность деятельности самой партии, я не сделал этих разоблачений. В этом я виноват, и за это я готов нести ответственность перед партией и перед трудящимися. Было два основных момента, удерживавших меня. Первый момент заключается в том, что я недостаточно ясно продумал и осознал мелкобуржуазную, антисоциалистическую сущность

партии. Мне это было недостаточно ясно, мне не было еще тогда ясно, что эта партия находится в стане моих классовых врагов, по ту сторону баррикады революции. Это первый основной момент. И второй момент — подсознательная, психологическая связанность с партией социал-революционеров. Одно дело решить для себя лично вопрос и вступить в партию коммунистов, другое дело — бороться против той партии, в рядах которой я в продолжение долгих лет работал, с которой я сжился, интересами которой я жил и с которой я работал. Кроме того, с этой партией у меня была личная, глубокая связь, с целым рядом старых партийных работников. Все это изживается не сразу, а постепенно. Вот эти основные факты и привели к тому, что я при вступлении в РКП не сделал этих разоблачений, для меня это было тогда невозможно, и понадобились целые годы мучительных, тяжелых переживаний внутри партии, в которую я вступил. Этот процесс был ускорен тем, что я работал за границей, там ясно и наглядно предстала передо мной работа партии социал-революционеров. Вот тогда я счел себя обязанным, счел своим долгом революционера выступить. В заключение, товарищи судьи, я хочу указать, что суд надо мной начался гораздо раньше, чем начался этот процесс. Этот суд начался в 1919 году, когда я сознал всю преступность своей прежней деятельности в партии социал-революционеров. Это суд революционной совести. Перед этим судом будут стоять когда-нибудь и граждане, сидящие здесь, члены ЦК. Тогда они узнают, как тяжело, безмерно тяжело для революционера сознавать преступность своих действий, ибо то, что я убийца Володарского, что я, может быть, на многие годы укоротил жизнь вождя мирового социализма Ильича, все это у меня останется на всю жизнь.

Я заканчиваю свою речь. Тов. Цеткина в своей речи сказала правду, такие преступления искуплены быть не могут и никакой приговор не может снять с меня ответственность за эти преступления. Приговор моей революционной совести был суров. Он меня осудил»<sup>289</sup>.

В речи Семенова обращают на себя внимание два пассажа. Во-первых, рассуждения о «целых годах мучительных, тяжелых переживаний внутри партии», в которую он вступил. В РКП(б) Семенов вступил по рекомендации видных большевиков А. С. Енукидзе, Л. П. Серебрякова и Н. Н. Крестинского в январе 1921 г.<sup>290</sup>, а уже в декабре этого же года его разоблачительную брошюру читал И. В. Сталин, оставивший на ней свою резолюцию<sup>291</sup>. Вероятно, пассаж «о годах» потребовался Семенову, чтобы скрыть, кто в действительности был заказчиком его разоблачений и когда он признался коммунистам в своем прошлом. Во-вторых, его заключительные и весьма эффектные слова о том, что его революционная совесть его осудила. Но, по логике Семенова, осудила она его не за предательство товарищей, а за то, что он организовал покушение на Ленина.

Не меньший интерес представляет последнее слово фактического лидера 2-й группы подсудимых Григория Ратнера. Исповедуя принцип, что лучший способ обороны это нападение, Ратнер пытался доказать, что настоящие предатели и ренегаты не они, а их оппоненты, одурманившие «себя туманом фраз, слов и отживших понятий», подобно морфинистам. Ратнер восклицал: «Наше положение, положение старых работников, работников, с детства отдавших свою жизнь рабочему движению, наше положение революционеров на этих скамьях бесконечно более тяжелое, чем кого бы то ни было. У нас два прокурора: с одной стороны, обвиняют нас за наше временное предательство революции в 1918 г. государственная пролетарская власть и представители мирового пролетариата, с другой стороны, за наше дальнейшее служение революции обвиняют нас наши бывшие товарищи по

общему предательству революционного дела в 1918 г. На два фронта приходится нам защищаться: за наши преступления и за наши заслуги. И та, и другая сторона набрасывают на нас тень заслуженную, с другой стороны — тень, совершенно не заслуженную. То обстоятельство, что все те обвинения, вся та грязь, которая вылита на наши головы, не только с этих скамей и со всех газет, всего буржуазного мира, что этот общий фронт поддерживается всеми, начиная с Виктора Чернова в „Голосе России“ и кончая суворинским „Новым Временем“, ставит первой задачей нашей объяснить суду — как произошло то исторически нелепое явление, что мы, в большинстве рабочие, все, без исключения с детства работавшие в рабочем движении, в 18 году, в этом самом решающем, самом трагическом для пролетарского революционного движения году, оказались по ту сторону баррикад, оказались предателями русской революции. И суд, желая разобраться в этом явлении, должен прежде всего ясно и точно представить себе ту физиономию невероятной пестроты и разнородности, внутренней враждебности отдельных группировок, сосредоточившихся в том огромном и бесформенном конгломерате, который назывался партией социалистов-революционеров. <...> Здесь слово „ренегат“ и слово „предатель“ часто употреблялось. Обещали доказать, что Семенов — предатель в прямом смысле слова — вступил в ряды партии эсеров из какой-то другой организации — то ли из ВЧК, то ли от Савинкова, и партию эсеров толкал на те действия, которые ему нужно было совершить с моральной поддержкой партии. Это обещание было многообязывающее, его надо было выполнить. Рассчитывать же на то, что это пушено, а буржуазные газеты подхватят и шепотком эта клевета пройдет во все умы — это нечестно. Но здесь слишком очевидно, как можно назвать тот путь, который проделала партия от Карла Либкнехта до Вандервельде, от Циммервальда и Кинталя до Деникина. Совершенно ясный, отчетливый признак политического ренегатства. Я не собираюсь клеймить за это партию. Начало этого пути в 18 году проделал я и я это временное ренегатство от пролетарского социализма признаю. Но должны и вы это ренегатство признать открыто. Совершенно явный путь ренегатства вы проделали. Если вы хотите говорить о политическом провокаторстве, то позвольте вернуть по адресу это оскорбление, ибо ничем иным, как провоцированием народных масс были все эти попытки вооруженного выступления, которые не удалось довести не только до победы, но даже до какого-то осмысленного логического пункта. О политическом ренегатстве лучше не говорить, ибо не хотелось бы мне в самом последнем из последних слов заниматься оскорблением и даже хотя бы слишком резкой политической полемикой, но приходится говорить об этом (только потому, что этот разговор начали наши прокуроры, а нашим прокурором вместе с подсудимыми первой группы является вся бесчисленная соглашательская буржуазия и даже черносотенная пресса Запада).

<...> Что остается этим людям? Надежды, что когда-то в будущем совершится какое-то чудо — прозрение народных масс, которые сообразят, что народовластие есть их единственное счастье, что зло им принесла Советская власть. Мечта о каких-то новых жертвах, которые они принесут для чего-то, а может быть только жертва для жертвы. Мечта о какой-то третьей силе, которая когда-то проснется, организуется и даст возможность им надавить на эту самую дверь и либо заставить открыть эту дверь, либо сорвать с петель. <...>. Столько путаницы, столько внутренних противоречий во всех основных и второстепенных вопросах, что не может быть и речи о возрождении. Неизбежно дальнейшее падение партии, дальнейший полный отказ уже не только от революционной сущности,

а постепенно от революционной идеологии и революционной фразеологии. <...> густая туманная пелена закрывает от них новый мир. Но мы эту культуру почувствовали давно, к этой культуре устремились мы с 19 года. **Мы к этому новому возрождающемуся царству рабочего класса, царству, к которому путь тяжел, к которому путь не через красивые жесты и фразы, к которому не идут в белых перчатках с великолепными речами, подходящими для 60 годов 19 века, которые мы слышали от Угтофа, с этими речами мы к социализму не придем. И мы сознательно, болезненно порвав о теми страшно сильными, бесконечно крепкими пережитками старого, мы этим путем все-таки пойдём** (выделено нами. — *К. М.*)»<sup>292</sup>.

Нельзя не отметить, что то, что его сестра называла большевистским экспериментированием с моралью, представлено в речи Ратнера весьма выпукло. Чего стоит только одна его формулировка, где он бывших товарищей называет — «наши бывшие товарищи по общему предательству революционного дела в 1918 г.».

Но главное в речах всех выступавших и самого Ратнера — это, конечно, отказ от старой морали и не только той, которой придерживались революционеры, но в данном случае и от «общечеловеческой», которая огульно называется мешанской, и пафосный призыв идти другим путем, к совершенно новой морали, по которой не зазорно воскликнуть: «Если требует революция, то можно свести на эшафот и собственную сестру. Если требует революция, то семейные отношения не существуют!»

## Примечания

- <sup>1</sup> Цит. по: Судебный процесс над социалистами-революционерами (июнь—август 1922). Подготовка. Проведение. Итоги. Сборник документов / Сост. С. А. Красильников, К. Н. Морозов, И. В. Чубыкин. М., 2002. С. 150.
- <sup>2</sup> Семенов Г. (Васильев) Военная и боевая работа партии социалистов-революционеров за 1917—1918 гг. М., 1922. С. 39.
- <sup>3</sup> Цит. по: Судебный процесс над социалистами-революционерами. С. 673.
- <sup>4</sup> Цит. по: Там же. С. 149.
- <sup>5</sup> Там же. С. 149—152.
- <sup>6</sup> Цит. по: Там же. С. 151—152.
- <sup>7</sup> ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 35. Л. 1—2.
- <sup>8</sup> Там же. Т. 24. Л. 592—594.
- <sup>9</sup> Там же. Л. 595.
- <sup>10</sup> Там же. Л. 596.
- <sup>11</sup> ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 2.
- <sup>12</sup> Цит. по: Судебный процесс над социалистами-революционерами. С. 174—176.
- <sup>13</sup> Там же. С. 460.
- <sup>14</sup> Там же. С. 185.
- <sup>15</sup> Войтинский В. Двенадцать смертников. Суд над социалистами-революционерами в Москве. Берлин, 1922. С. 87.
- <sup>16</sup> Цит. по: Судебный процесс над социалистами-революционерами. С. 178.
- <sup>17</sup> Цит. по: Там же. С. 208.
- <sup>18</sup> Цит. по: Там же. С. 176.
- <sup>19</sup> ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 24. Л. 494—495.
- <sup>20</sup> См., например: РГАСПИ. Ф. 332. Оп. 1. Д. 23. Л. 8 об.
- <sup>21</sup> См.: Памятная книжка социалиста-революционера. Вып. 1. Париж, 1911. С. 24—25; ГАРФ. Ф. 6212. Оп. 1. Д. 95. Л. 119—120.

- 22 Бурцев В. Л. Дело с-р А. А. Петрова // Иллюстрированная Россия. Париж. 1939. № 21.
- 23 См.: Б. В. Савинков и Боевая организация ПСР в 1909—1911 гг. / Публ. К. Н. Морозова // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 18. М.; СПб., 1995. С. 264.
- 24 ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО. 1909. Д. 189. Л. 51—54.
- 25 Hoover Institution Archives. В. Nicolaevsky Collection. Box 150. Folder 14.
- 26 РГАСПИ. Ф. 332. Оп. 1. Д. 6. Л. 2.
- 27 Там же. Л. 3.
- 28 Там же. Д. 7. Л. 4.
- 29 Там же. Д. 8. Л. 2—3.
- 30 Там же. Д. 7. Л. 42.
- 31 Там же. Д. 4. Л. 52, 53.
- 32 РГАЛИ. Ф. 1337. Оп. 1. Д. 160. Л. 166—167.
- 33 См., например, красочное описание эсером Чермаком попытки его «соблазнения» жандармским полковником (РГАЛИ. Ф. 1337. Оп. 1. Д. 285. Л. 11).
- 34 Дейч Л. Г. 16 лет в Сибири. С. 180—181, 197—198.
- 35 Дейч Л. Г. 16 лет в Сибири. С. 175—176.
- 36 Спиридонова М. Из жизни на Нерчинской каторге // Женщины-террористки в России / Сост., предисл. и прим. О. Будницкого. Ростов-на-Дону, 1996. С. 430.
- 37 См.: Памятная книжка социалиста-революционера. Вып. 1. С. 24—25.
- 38 Спиридонова М. Из жизни на Нерчинской каторге. С. 434.
- 39 МИСИ. Архив ПСР. 531.
- 40 12 лет спустя, в 1903 г., когда разгорелся скандал, связанный с обвинением его в ренегатстве, Кочаровский писал М. Р. Гоцу о том, что разумом готов признать правоту большинства, считающего, что «подача прошения о помиловании есть ошибка без всяких оправданий» <...> Однако «со стороны чувства непосредственного» не ощущает «никакого чувства вины перед партией», но полагает, что «во всяком случае во второй раз я никогда и ни при каких обстоятельствах не решился бы подать прошения о помиловании» (МИСИ. Архив ПСР. 531).
- 41 МИСИ. Архив ПСР. 531.
- 42 Там же.
- 43 Спиридонова М. Из жизни на Нерчинской каторге. С. 435.
- 44 Троцкий Н. Исключительный случай // Будущее. 1912. 9 июня. № 33.
- 45 РГАЛИ. Ф. 1337. Оп. 1. Д. 160. Л. 431.
- 46 Там же. Л. 432—433.
- 47 Там же. Л. 433.
- 48 Олицкая Е. Мои воспоминания. Т. 1. Франкфурт-на-Майне, 1971. С. 271.
- 49 ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 1. Ч. 1. Л. 370.
- 50 Левтонова О. В. Шлиссельбуржец Владимир Левтонов. Калуга, 2000. С. 32.
- 51 ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 65. Л. 47—48.
- 52 Там же. Т. 65. Л. 94.
- 53 Судебный процесс над социалистами-революционерами. С. 776.
- 54 ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 31. Л. 266—267.
- 55 Судебный процесс над социалистами-революционерами. С. 785.
- 56 Процесс эсеров. Вып. 2. Речи защитников и обвиняемых. М., 1922. С. 52—53.
- 57 Там же. С. 58—59.
- 58 Там же.
- 59 Процесс эсеров. С. 204—205.
- 60 Процесс эсеров. С. 198—205.
- 61 Цит по: Судебный процесс над социалистами-революционерами. С. 781.

- 62 Там же.
- 63 Цит по: Судебный процесс над социалистами-революционерами. С. 781.
- 64 Ср., например, помету «Климушкин» на одном из документов Комуча (ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 40. Л. 88) с резолюцией Ф. Э. Дзержинского (ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 46. Л. 143 и 149).
- 65 ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 40. Л. 2.
- 66 Там же.
- 67 Там же. Л. 18об.
- 68 Там же.
- 69 Там же.
- 70 Там же. Т. 28. Л. 63.
- 71 Там же. Т. 27. Л. 457.
- 72 Там же. Л. 586.
- 73 Там же. Л. 651.
- 74 Там же.
- 75 Там же. Л. 652—653.
- 76 Там же. Л. 653.
- 77 Там же. Л. 653.
- 78 Там же. Л. 654.
- 79 Там же.
- 80 Там же. Л. 655—656.
- 81 Там же. Л. 656—658.
- 82 Там же. Т. 27. Л. 457, 462—467.
- 83 Там же. Л. 469—470.
- 84 Там же. Л. 472—474.
- 85 Там же. Л. 476.
- 86 Там же. Л. 476.
- 87 Там же. Л. 477.
- 88 Там же. Л. 477—478.
- 89 Там же. Л. 480.
- 90 Там же. Т. 40. Л. 13.
- 91 Там же. Т. 27. Л. 586—587.
- 92 Там же. Л. 588.
- 93 Там же.
- 94 Там же. Л. 588—589.
- 95 Там же. Л. 588.
- 96 Там же. Т. 27. Л. 613.
- 97 Там же. Л. 609—611.
- 98 Там же. Т. 28. Л. 82.
- 99 Там же. Л. 83—84.
- 100 Там же. Л. 85—90.
- 101 Там же. Л. 92.
- 102 Там же. Л. 64—66.
- 103 Там же.
- 104 Там же. Л. 76.
- 105 Там же. Л. 76—78.
- 106 Там же. Л. 93.
- 107 Там же. Л. 78.
- 108 Там же. Л. 93—106.

- 109 Там же. Л. 79, 80.  
110 Там же. Т. 7. Л. 10—20.  
111 Там же. Л. 10 об.  
112 Там же. Л. 11.  
113 Там же. Л. 18об.—19.  
114 Там же. Л. 19.  
115 Там же.  
116 Там же. Л. 25.об.  
117 Там же. Л. 12—12об.  
118 Там же. Л. 13.  
119 Там же. Л. 13 об.  
120 Там же.  
121 Там же.  
122 Там же.  
123 Там же.  
124 Там же. Л. 14об.—15.  
125 Там же. Л. 15.  
126 Там же.  
127 Там же.  
128 Там же. Л. 15—15об.  
129 Там же. Л. 15об.  
130 Там же.  
131 Там же. Л. 17.  
132 Там же.  
133 Там же.  
134 Там же.  
135 Там же. Т. 23. Л. 183—184.  
136 Фигнер В. Н. Полн. собр. соч.: В 6 т. Т. 3. М., 1929. С. 230—231.  
137 ГАРФ. Ф. 5847. Оп. 2. Д. 118. Л. 3 об., 4—4 об.  
138 Там же. Л. 6, 7об., 8.  
139 Стасова Е. Д. Страницы жизни и борьбы. 3-е изд. М., 1988. С. 106.  
140 РГАЛИ. Ф. 1337. Оп. 1. Д. 52. Л. 226.  
141 Там же. Л. 233.  
142 Там же. Л. 234.  
143 ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 65. Л. 107.  
144 Там же. Т. 63. Фотокопия данного письма — Л. 361—362. (внутри конверта Л. 293).  
145 Там же. Л. 319.  
146 Там же. Т. 23. Л. 3—4.  
147 Там же. Л. 5—7.  
148 Там же. Л. 7—8.  
149 Там же. Л. 8.  
150 Там же.  
151 Там же.  
152 Там же. Л. 11.  
153 Там же. Л. 39.  
154 Там же. Л. 209—210.  
155 Там же. Л. 178—719.  
156 Там же. Л. 175.  
157 Там же. Л. 177, 178.

- 158 Там же. Л. 179—184.
- 159 Там же. Л. 188.
- 160 Там же. Л. 189.
- 161 Там же. Л. 340—344.
- 162 Там же. Л. 325—344.
- 163 Там же. Л. 182, 182об.
- 164 Там же. Л. 137—139.
- 165 Там же. Л. 139.
- 166 Там же. Л. 143.
- 167 Подробнее см.: Судебный процесс над социалистами-революционерами. С. 233—240, 258—268, 270—271.
- 168 Донской Дмитрий Дмитриевич. Сб. док-тов и мат-лов / Сост. Я. А. Яковлев. Томск, 2000. С. 141—144.
- 169 ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 24 Л. 199—201.
- 170 Там же. Л. 337.
- 171 Там же. Л. 346.
- 172 Там же. Л. 467—468.
- 173 Там же. Т. 26. Л. 463—464.
- 174 Там же. Л. 456—457.
- 175 Там же. Л. 466.
- 176 Там же. Т. 35. Л. 71.
- 177 Там же. Л. 38.
- 178 Там же. Л. 74.
- 179 Там же. Л. 75—77.
- 180 Семенов Г. (Васильев) Военная и боевая работа партии социалистов-революционеров за 1917—1918 гг. С. 20.
- 181 ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 35. Л. 69—70.
- 182 Процесс эсеров. Вып. 2. Речи защитников и обвиняемых. М., 1922. С. 20—23.
- 183 Там же. С. 59—60.
- 184 ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 35. Л. 376.
- 185 Там же. Т. 36. Л. 66.
- 186 Там же. Л. 93.
- 187 Там же. Т. 48. Л. 257.
- 188 Там же. Л. 127.
- 189 Там же. Л. 74.
- 190 Там же. Л. 61.
- 191 Там же. Л. 165.
- 192 Там же. Л. 224.
- 193 Судебный процесс над социалистами-революционерами. С. 813—814.
- 194 Донской Дмитрий Дмитриевич. С. 141—144.
- 195 ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 23. Л. 187.
- 196 Там же. Т. 48. Л. 269.
- 197 Там же. Т. 110. Л. 28.
- 198 Крыленко Н. В. За пять лет. 1918—1922. Обвинительные речи. М. ; Пг., 1923. С. 325.
- 199 Цит. по: Янсен М. Суд без суда. 1922 год. Показательный процесс социалистов-революционеров / Пер. с англ. М., 1993. С. 223.
- 200 ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 48. Л. 133.
- 201 Там же. Т. 51. Л. 149.
- 202 Донской Дмитрий Дмитриевич. С. 141—144.

- 203 ЦА ФСБ РФ. Д. Р-46679. Л. 115.
- 204 «Суббота. Дорогие друзья, от Вас уже так давно ничего не было, не провалилось ли и это место. Чем кончился суд Рихтера?» (Там же. Н-1789. Т. 60. Л. 306 (копия), 310 (подлинник в конверте)).
- 205 Судебный процесс над социалистами-революционерами. С. П-20
- 206 ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 55. Л. 22.
- 207 Там же.
- 208 Там же. Т. 56. Л. 215.
- 209 Там же. Л. 215.
- 210 Там же.
- 211 Там же. Л. 228.
- 212 Там же. Л. 228.
- 213 Там же. Т. 57. Л. 191.
- 214 Там же. Т. 21. Л. 16—16 об.
- 215 Там же. Т. 55. Л. 192—193.
- 216 Там же. Л. 202.
- 217 См.: Журавлев С. В. Человек революционной эпохи: Судьба эсера-террориста Г. И. Семенова (1891—1937) // Отечественная история. 2000. № 3. С. 91.
- 218 ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 55. Л. 206.
- 219 Там же. Л. 203.
- 220 Там же. Л. 204.
- 221 Там же. Т. 57. Л. 113.
- 222 Там же. Л. 174.
- 223 Там же. Л. 175
- 224 Там же. Л. 20.
- 225 Там же. Л. 26, 42.
- 226 Там же. Л. 27—29.
- 227 Там же. Л. 32.
- 228 Там же. Л. 40.
- 229 Там же. Л. 80.
- 230 Там же. Л. 94.
- 231 Там же. Л. 97.
- 232 Там же. Л. 130.
- 233 Там же. Л. 50.
- 234 Там же. Л. 160.
- 235 Там же. Л. 171.
- 236 Там же. Т. 46. Л. 20.
- 237 Там же Л. 31, 35.
- 238 Там же. Т. 23. Л. 116.
- 239 Там же. Т. 2. Л. 492—493.
- 240 Там же. Т. 24. Л. 494—495.
- 241 Там же. Т. 63. Л. 175.
- 242 Там же. Т. 24.
- 243 Там же. Т. 63. Л. 173.
- 244 Там же. Т. 51 Л. 111.
- 245 Там же. Л. 132.
- 246 Там же. Л. 155.
- 247 Там же. Л. 163.
- 248 Там же. Т. 51. Л. 149.

- 249 Там же. Л. 173.
- 250 Там же.
- 251 ГАРФ. Ф. 6756. Оп. 1. Д. 20. Л. 84.
- 252 Там же. Л. 30.
- 253 См.: Судебный процесс над социалистами-революционерами. С. 758—826.
- 254 ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 36. Л. 244.
- 255 Цит. по: Судебный процесс над социалистами-революционерами. С. 762—763.
- 256 Там же. С. 767.
- 257 ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 36. Л. 244—252.
- 258 Там же. Л. 173—186.
- 259 Там же. Л. 186—188.
- 260 Там же. Л. 188—189.
- 261 Там же. Л. 189.
- 262 Там же. Л. 189—190.
- 263 Там же. Л. 191—195.
- 264 Там же. Л. 196—203.
- 265 Там же. Л. 204—205.
- 266 Там же. Л. 206—208.
- 267 Там же. Л. 209—214.
- 268 Там же. Л. 215—218.
- 269 Там же. Л. 219—221.
- 270 Там же. Л. 222—223.
- 271 Там же. Л. 224, 230—234.
- 272 Там же. Л. 234.
- 273 Там же. Л. 234—243.
- 274 Там же. Л. 253—261.
- 275 Там же.
- 276 Там же. Л. 261—273.
- 277 Там же. Л. 274—286.
- 278 Там же. Т. 56. Л. 235.
- 279 Цит по: Донской Дмитрий Дмитриевич. С. 141.
- 280 Процесс эсеров. С. 188.
- 281 См.: Янсен М. Суд без суда. С. 206, 216.
- 282 Процесс эсеров. С. 188—190.
- 283 Процесс эсеров. С. 198—205.
- 284 Там же. С. 207—210.
- 285 Там же. С. 210.
- 286 Там же. С. 211—212.
- 287 Процесс эсеров. С. 213, 220—221.
- 288 Там же. С. 223.
- 289 Там же. С. 225—228.
- 290 См.: Журавлев С.В. Человек революционной эпохи: Судьба эсера-террориста Г. И. Семенова (1891—1937) // Отечественная история. 2000. № 3. С. 93.
- 291 ЦА ФСБ РФ. Н-1789. Т. 2. Л. 294.
- 292 Процесс эсеров. С. 229, 238—241.